



Федерико
Гарсиа **Л**орка

ЛИРИКА

ГАРСИА ЛОРКА



СОКРОВИЩА
ЛИРИЧЕСКОЙ
ПОЭЗИИ



ФЕДЕРИКО
ГАРСИА ЛОРКА

ЛИРИКА

Переводы
с испанского



Издательство «Художественная литература»
Москва 1966

И(Исп)

Л78

Предисловие
А. ГЕЛЕСКУЛА



Художник
А. ГОНЧАРОВ

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

(1898—1936)

Хрупкий человек с чистым смуглым лицом и покоряющей улыбкой деревенского подростка — он обладал какой-то необъяснимой властью. Где бы он ни был, к нему тянулись, словно к родниковой воде; все рядом с ним оживало и преображалось — вещи, звуки и сами люди. Его прихода ждали как праздника; он появлялся, и у людей разглаживались морщины.

Как и в его стихах, все в нем было естественно и прекрасно. И прежде всего естественно: ни малейшего намека на позу, ничего показного. Все его звали только по имени — Федерико; друзья его были бесчисленны, и добрая половина их — крестьяне, матадоры, цыгане — не читала его стихов и не знала, что он гений. Впрочем, не знал этого и сам Федерико или, во всяком случае, никогда об этом не задумывался. На вопрос, как он творит, он мог бы ответить, как ответил когда-то Бах: «Главное — вовремя попасть нужным пальцем на нужную клавишу». Остальное делает музыка.

И те, кто знал, что он замечательный поэт, и те, кто не знал этого, сходились в одном: он замечательный товарищ, лучший, какого можно себе представить. «Он был праздником, радостью, которая разом овладевала нами, и нам не оставалось другого пути, как следовать за ним»,— вспоминает поэт Педро Салинас. Федерико Гарсиа Лорка был вечно окружен людьми, он их жаждал и как человек и как художник. О теории «искусство для искусства» он сказал: «По-моему, ни один настоящий человек в такой хлам уже не верит». Подлинная тоска по широкой народной аудитории привела его в театр. «Художник должен смеяться и плакать вместе со своим народом,— говорил он.— Надо бросить букеты лилий и по пояс погрузиться в грязь, чтобы помогать тем, кто ищет лилии». В неподдельной любви к людям, в неодолимой тяге к ним и был секрет его обаяния. Порой кажется, что в его жизни не было ни личных драм, ни личных целей, не было того, что составляет интимную жизнь художника и заполняет страницы биографии. Его биография — это друзья, стихи, музыка; в последние годы — друзья, театр, музыка. Его жизнь и весь склад его души были внеличными. Он жил в других — без людей он бы задохнулся.

Эта черта — черта глубоко народная — определила античный строй его образов. В поэзии Лорки, полной красок и звуков, природа очеловечена; это мир метаморфоз, где небо и земля, деревья и ветры оживают и обретают человеческую речь. Эта же черта определила и античную чистоту его языка.

«Я ненавижу орган, лиру и флейту,— писал он.— Я люблю человеческий голос. Одиноким человеческий голос, истомленный любовью».

Человек универсальной одаренности — поэт, драматург, музыкант, художник, артист, — он щедро раздаривал себя; это был его способ жить. Он неохотно печатал стихи, но охотно читал, потому что читать стихи — это все равно что дарить их. И где бы Лорка ни появлялся, своим присутствием он легко и незаметно утверждал красоту человеческих отношений. Красота была для него самым емким мерилom. Однажды, когда друзья подтрунивали над его «провинциальной» предупредительностью по отношению к людям чужим и порой сомнительным, он тихо ответил: «Ведь вежливость так красива!» Красоту он умел находить везде — и в стихах Гонгоры, и в песнях пастухов. Как драгоценность приносил он друзьям строчку из подслушанной детской песни, где лимон назван «мертвым апельсином», — это и было то высшее, чего он требовал и добивался от поэтического образа: метафора, заключающая в себе маленький миф. Или звучавшие для него эхом собственного голоса слова народной песни о том, как ронсевальская луна мыла свой платок в ручье и расстилала его на лугу. Или родную андалусскую сигирийю:

Поднимались в море
темные утесы,
а на них любовь моя сидела
и считала слезы.

Не только строгая красота андалусских безлюдий, но любая мелочь, на которой останавливались его спокойные, мягкие глаза, раскрывала перед ним свою поэзию. «Жизнь яблока, — говорил он, — от хрупкого цветка до той поры, когда, золотое, оно падает с дерева в траву, так же таинственна и так же гран-

диозна, как законы морских приливов. Поэт должен знать это». Общение с Лоркой обогащало, ибо учило тому, что служит истоком человеческой доброты,— удивлению перед тайной жизни.

Но главной красотой — и это особенно раскрылось в его драматургии — для Лорки были люди его земли. Федерико Гарсиа Лорка любил Испанию любовью строгой и целомудренной. «Поэт красоты — не есть ли красота высшая обнаженность? — он уже в силу одного этого был поэтом трагическим», — так сказал о нем большой его друг поэт Хорхе Гильен. Гарсиа Лорка жил в трагическое время и в трагической стране. Он знал, что традиционная для испанской поэзии тема смерти не литературный каприз, и если в песнях народа так часто звучит слово «смерть», это говорит о многом. Он видел собственными глазами, какую жатву собирает смерть с испанской земли. И в том, что он говорил об Испании, всегда звучали гордость и страдание. «В других странах смерть — это конец. Она приходит — и занавес опускается. В Испании — нет. В Испании он поднимается. Многие здесь живут замурованными в четырех стенах до самой смерти — лишь после этого их выносят на солнечный свет. Мертвый в Испании мертв, как нигде в мире; его профиль ранит, словно лезвие варварской навахи».

В многочисленных воспоминаниях о Гарсиа Лорке неизменно присутствует одно слово: «мистерьосо» — таинственный, загадочный. Даже самые близкие друзья чувствовали, что Федерико не разгадан ими до конца. Испанский поэт Висенте Алейсандре пишет, что он менялся в течение дня, как меняется сама природа. За ясным обликом поэта угадывался сложный и страстный внутренний

мир,— угадывался, но не прорывался наружу. Обычно большие люди, в особенности большие художники, непроизвольно вовлекают окружающих в орбиту своих страстей и поступков. Гарсиа Лорка, с его душевной щедростью и загадочной властью над людьми, сам всегда как бы оставался в тени. С этим связана одна удивительная особенность его поэзии. Поэзия нашего века по преимуществу поэзия монологическая; в стихах крупнейших ее представителей всегда явно или тайно стоит слово «я», звучит голос неповторимой личной судьбы. В стихах Гарсиа Лорки слово «я» или отсутствует, или носит условный характер — это безличное, вернее, тысячеликое «я» народной песни. По стихам Лорки невозможно воссоздать его биографию. Единственное, в чем Лорка утверждает свое «я»,— это неповторимость его поэтического видения.

Может быть, загадка Гарсиа Лорки и заключалась в его гармоничности. Это была редкая и желанная человеческая натура, которая призвана творить — и творит. «Все в Федерико было вдохновением,— вспоминает Висенте Алейсандре,— и его жизнь, так прекрасно созвучная его творчеству, была торжеством свободы».

Моцарт испанской поэзии, он ступал по земле легко и радостно. В памяти современников он остался юношей. До последних дней в его облике сохранялось что-то неуловимо студенческое, да и единственный официальный пост, который он в своей жизни занимал, был пост директора передвижного студенческого театра «Ла Баррака». Трудно было представить его стареющим и невозможно — мертвым. Однажды он сказал, что вся его жизнь и творчество — борьба со смертью. Фраза эта

глубока и многозначна; одно явно — Гарсиа Лорка боролся со смертью во всех ее проявлениях. Он знал ее посланцев — людей со свинцовыми черепами и лакированными душами. И в августе 1936 года на обочине дороги близ Гранады, где встретились Поэт и Смерть, разыгрался последний трагический эпизод этой борьбы, в которой поэт пал и победил.

К Федерико Гарсиа Лорке могли бы быть полностью отнесены слова Унамуно: «Жить нужно так, чтобы смерть для нас была несправедливостью». Но смерть Лорки была не просто несправедливостью и даже не просто преступлением. Она стала прологом народной трагедии. И когда, после долгой и героической борьбы, толпы беженцев покидали родину, вместе с ними переступила испанскую границу и поэзия Гарсиа Лорки.

Стихи Лорки стремительно завоевали мир. Стремительность эта необычайна; может быть, один только Гейне так же легко переступал языковые барьеры. Трудно объяснить это только красочностью или жизнелюбием поэзии Лорки — поэзии во многом трагической. Нельзя сказать, что он чересчур доступен; Лорка действительно прост и прозрачен, но, во всяком случае, не для тех, кто привык читать стихи, как газету. В самой Испании пытались прикрепить к нему ярлык местного, «провинциального» поэта. Сейчас у него широкая и разноликая читательская аудитория в разных уголках мира. Пожалуй, Гарсиа Лорка мог бы сказать о судьбе своих произведений то же, что с лукавой гордостью написал своему отцу Моцарт: «Знатоки получают настоящее удовлетворение, но и незнатоки остаются довольны,

сами не ведая почему». Действительно, стихи Лорки — гармоничное творение гармоничного духа — будят в человеке то «таинственно-родное», что именуется поэзией. И не метафора, не цвет, не звук, именно это чувство таинственного родства связывает стихи Лорки с человеческим сердцем.

Поэзия Лорки, несмотря на трудности и неизбежные издержки перевода, легко переступила рамки испанского языка — так легко переступает национальные границы только музыка. И действительно, поэзия Лорки органически связана с музыкой. Речь в данном случае идет не о музыкальности его стихов с их тонкой инструментовкой, с их легкими и хрупкими ритмами — речь идет вообще о музыкальности его поэтического мышления. В частности, его «Канте хондо» — это поэтическое переложение народных мелодий.

Вряд ли стоит разбирать все влияния и воздействия, которые испытывал на себе Лорка как поэт. Он учился и у Гонгоры, и у Мачадо, и у Хуана Рамона Хименеса; очевидна и глубока его связь с античной трагедией. Но на одном из истоков его поэтики нужно остановиться особо, так как он дает ключ к верному прочтению многих стихов Лорки. Это песенная сокровищница Андалусии — *канте хондо*.

Андалусское сольное пение канте хондо буквально значит «глубокое» или «глубинное пение». «Оно действительно глубинное, — говорит Лорка. — Глубже, чем все колодцы и все моря мира, много глубже, чем то сердце, которое его творит, и голос, который его поет, ибо оно почти бездонно. Оно идет от далеких племен, пересекая кладбища лет и листопады увядших ветров. Оно идет от первого плача и первого поцелуя».

Культура канте хондо на андалусской земле насчитывает не одну сотню лет, и она никогда не выходила за пределы испанского юга. Канте хондо невозможно имитировать, и ему невозможно научиться. Петь «глубоким пением» учатся с детства так же, как учатся говорить. В нем есть индийские и арабские элементы, но в своей сути это подлинное творение Андалусии, древнее и неповторимое (неповторимое буквально, потому что ни одна песня дважды не исполняется одинаково). В канте хондо есть вековые традиции, но нет застывших канонов восточного пения; это вечно меняющийся и потому вечно живой поток народной поэзии.

Устойчивы в канте хондо только тексты — четырехстрочные петенеры и сигирийи, трехстрочные солеа; накопленные столетиями, они составляют поразительную по красоте народную антологию. Порой эти короткие поэмы буквально обжигают своей поэтической правдой.

«Когда я иду мимо дома, где жил любимый, я радуюсь, словно клетка, из которой улетела птица».

Или вот трехстрочная солеа, «мать андалусской поэзии»: «Мертвой я ее увидел,— и так она была красива, что я закрыл ей лицо».

Стихи эти печальны, даже более чем печальны; иногда они похожи на заглушенный крик. Как говорит Лорка: «Женщину в канте хондо зовут Скорбь».

Один я на белом свете, // никто меня не помянет. //
Прошу я у веток тени — // и каждая ветка вянет.

Меня схороните стоя, // и если любовь пройдет, // она,
обернувшись, скажет: // — Меня он и мертвый ждет!

Даже камень, холодный камень, // если тронет его огниво, //
плачет огненными слезами. // Плачь же, сердце, — тебе не диво!

Но текст в канте хондо едва ли не наименее существенное, как трагедийная маска в античной драме. Канте хондо создают два человека: гитарист-токаор и народный певец — кантаор, как их называют в Андалусии. Монотонный плач гитары с медленным нагнетанием ритма и тревожными диссонансами, прерывистая синкопированная мелодия, полная задыхающихся пауз, должны помочь кантаору обрести особое творческое состояние, близкое к экстазу. И тогда каждое слово песни становится актом трагедии. Традиционное андалусское «Ай!» может стать криком боли, или нескончаемым плачем, или еле слышным вздохом; каждый слог превращается в целую музыкальную фразу. Поэтому тексты песен так лаконичны; излюбленная форма канте хондо — трехстрочные солеа.

Да, я сильнее, чем бог!
Сам бог тебе не простил бы
того, что простить я смог.

Может быть, из различных видов эпигонства худший — псевдонародность, подделка самого подлинного, что есть в искусстве. Поэтому Лорка, обычно мягкий и внимательный к чужим стихам, с презрением говорил о сборнике «Канте хондо» Мануэля Мачадо-младшего, который пытался имитировать народные строфы.

В своем «Канте хондо» Лорка не копирует андалусский фольклор, он ставит и решает почти небывалую задачу — переложить на язык поэзии таинпись народных мелодий. Он показывает, как в этих монотонных хроматических узорах струны и гóлоса кристаллизуются бесконечные линии гори-

зонтов, красные дороги Андалусии, неизвестные человеческие судьбы.

Первая из лоркианских поэм канте хондо — «Стихи о цыганской сигирийе». Сигирийя — это танец и песня.

Умирать я стану —
в час последней муки
этой прядью, прядью своей черной,
повяжи мне руки.

Но ни одна из традиционных или придуманных сигирий не появляется в поэме даже в качестве побочной темы. Тусклый, предрассветный пейзаж, дрожь тростника, — и в тишине «начинается плач гитары...». И когда он достигает своего предела — «о, гитара!..» — тогда в песне раздается «А-а-ай!» кантаора, а в поэме — над горами, как черная радуга, повисает крик. Далекое дыхание смерти касается лиц, и в зыбкой тишине, где еще скользит последнее эхо, люди гасят свечи, тревожно приникая к земле. Это пауза после первого, еще бессловесного, певческого вздоха.

И вот в колдовском озарении проходит по светящейся земле девушка с серебряным сердцем — цыганка-сигирийя. Бесконечный завораживающий ритм ведет все дальше, туда, куда нельзя дойти, где земля и небо сливаются и растворяются в свете. Там теряется сигирийя, и только смутно белеют символы смерти — луна, олеандр, мел. Оцепеневшим взглядом смотрят горы, плачут слепые девушки, замирают последние аккорды. Все... Осталась пустыня. Над трагедией, разыгравшейся в «глубоком ущелье гитары», опускается занавес.

Еще напряженной поэма «Стихи о солеа» с ее гениальным «Селеньем». В «Солеа» проглядывают

ростки всей будущей драматургии Гарсиа Лорки; фрагмент «Встреча» — это почти набросок к трагедии «Кровавая свадьба». Поэма кончается утренним перезвоном колоколов. Над безвестными мертвыми, над человеческим одиночеством, над всей трагической землей Андалусии звонят колокола рассвета, и как эхо последнего удара снова оживают в памяти слова:

О, где-то затерянное селенье
в моей Андалусии
слезной...

(Перевод М. Цветаевой)

Творчество Федерико Гарсиа Лорки — редкий пример создания цельного поэтического мира. Есть великие поэты, которые полнее и богаче отзывались на каждое движение природы и человеческой души, всякий раз находя новый и точный звук. Мир Лорки иной. В нем нет такого разнообразия, но нет и фрагментарности, он логически завершен и подчинен таким же строгим внутренним законам, как законы природы; это свободная и причудливая логика сказки. Творение человеческого духа, этот мир покоится на таком подлинном и глубоком знании, что он реален и осязаем для нас. Мы знаем, как в этом мире пахнут цветы и текут воды, как любят и как умирают в нем люди. Прекрасная и свободная человеческая страсть восстает и торжествует над нами, реки оплакивают павших, и лунный сумрак легенды смягчает резкие и страшные черты смерти. Такое единство элементов, слагающих поэтический мир, — свидетельство высшей творческой мощи.

Образцом такого единства служит лучшая, может быть, поэтическая книга Лорки «Цыганский романсеро» — грандиозная ночная панорама, маги-

ческое зеркало, в котором отразился прекрасный и скорбный лик Андалусии.

Романс — едва ли не самая исконная форма испанской поэзии, и прежде всего народной. Романсы — народные баллады о королях и маврах, рыцарях и пастухах, о любви и о смерти — живы доньине; и сейчас можно услышать, как дети, играя на деревенской площади, поют о несчастном короле Родриго, который потерял Испанию. Романсы поются, и в этих напевах, протяжных, тоскливых и завораживающих, слышится печальное эхо мавританских мелодий. Испанские поэты, большие и малые, неоднократно прибегали к романсу, но только Лорка по-настоящему обновил его древние формы. Он создал свой, совершенно новый тип романса, заменив традиционную повествовательную манеру ярким динамическим действием, где причудливо сплетаются реальное и колдовское, обыденное и сказочное.

Уже в самом названии — «Цыганский романсеро» — таится та же грустная поэтическая ирония, которая заключена в рыцарском титуле «Дон-Кихот Ламанчский». В «Цыганском романсеро» нет ни королей, ни рыцарей, ни старинных преданий, и если пристально взглянуть, сквозь образную ткань легко различаются реальные черты яркого и горького быта нищих андалусских селений. Это подлинная жизнь, но приподнятая гением Лорки до поэтических высот легенды.

Многие романсы связаны с именем Антонио Торреса из прославленного в Андалусии цыганского рода Камборьо. Есть версия, что Антонио Торрес Эредья действительно существовал и был другом Лорки, — версия, возможно, и недостоверная, но достоверно известна народная песня о том, как

Антоньо Эредья с веточкой ивы спускался к реке и как выпала из мертвых рук веточка ивы и Антоньо не стало. Герой цыганского романсеро, воплощение мужественной красоты, Антоньо Торрес Эредья, преследуемый и свободный, бесстрашный и обреченный человек, у которого смутные отношения с небом и скверные с властями,— это тот самый бессмертный удалец, которого под разными именами воспевают и оплакивают песни всех народов мира. Этому народному герою и отдает Лорка всю нежность и полноту своего поэтического голоса.

Одна из чарующих особенностей цыганского романа Лорки — его недосказанность. Она делает роман таинственным, но есть здесь и нечто большее. Это вообще один из поэтических принципов Лорки. Стихотворная ткань романа похожа на музыкальное сопровождение какой-то смутно проступающей трагедии, и именно это заставляет нас, читая, в какой-то мере делаться поэтами. Яркие, цветные аккорды властно направляют наше воображение, и, подчиняясь их ритму и краскам, мы сами, с известной свободой, конструируем сюжет. Таков, например, лучший, может быть, из цыганских романсов — «Сомнамбулический романс».

Поэзию Федерико Гарсиа Лорки трудно анализировать — у него нет приемов. Некоторые его стихи — «Ампаро», «Девушке», «Это правда» — созданы будто дыханием, почти без слов. В одной народной севильяне поется, как спущенные на воду барки покидают Севилью и весла, коснувшись воды, внезапно одеваются зеленью. Здесь снова в волшебном зеркале андалусского воображения свежие, пахнущие смолой весла и зеленые брызги, дрожащие на них, как молодая листва, перевоплощаются в

«маленький миф» о неумирающей природе. Такова поэзия Лорки — движение и зеленый ветер весны. Ее обаяние — это обаяние юности.

Федерико Гарсиа Лорка родился 5 июня 1898 года, но по семейной традиции день своего рождения он всегда праздновал в июле, в день святого Федерико. И в роковое лето 1936 года фашистский мятеж застал его на родине, в Гранаде; ему исполнилось тридцать восемь лет. То была пора его расцвета. Последние литературные недруги, отчаявшись нацепить на него какой-либо окончательный ярлык, один за другим смолкали: его поэзия лилась и ломала все искусственные плотины литературоведческих схем; каждая новая вещь была новой, высшей ступенью, и трудно вообразить, к каким вершинам уводила эта лестница. В то лето 1936 года он завершал книгу стихов «Сонеты сумрачной любви» — по отзывам современников, лучшее из написанного им; рукопись эта погибла. Созревали замыслы по меньшей мере трех пьес: одна из них — снова о судьбе женщины в андалусских селениях, о девушке, красота которой стала ее проклятием и обрекла ее на одиночество,— в чем-то, видимо, перекликалась с шедевром Лорки, трагедией «Йерма» (1934); вторая пьеса — о революции. В мировой культуре рождалось новое явление — театр Лорки; поэт, создавший в наши дни образцы высокой трагедии, мог стать величайшим драматургом двадцатого столетия.

В ночь на 19 августа Федерико Гарсиа Лорка был вывезен из Гранады и на рассвете расстрелян.

Весть о его смерти показалась невероятной, ходили даже слухи, что убит не Лорка, а другой поэт-

андалусец — коммунист Рафаэль Альберти. В гибель Лорки не верили и потому, что она так не вязалась со всем его обликом, и потому, что он, в общем, стоял в стороне от политической борьбы. Многие даже близкие ему люди были уверены, что, по крайней мере, жизни его опасность не угрожает. Однако сам Гарсиа Лорка был прозорливей друзей; его не покидало предчувствие неизбежной гибели. Однажды, еще в Мадриде, он вернулся с митинга очень взволнованным и рассказал, что в толпе заметил человека, который в него целился. Лорку стали успокаивать. Какие у него могут быть враги, да и как можно разглядеть, в кого именно целились из толпы? Но Федерико качал головой: «Он целился в меня!» Это не был просто страх смерти. Лорка не раз говорил: «Как не заботился я о собственном рождении, так же не заботит меня и собственная смерть». Скорее, это было доведенное до физического ощущение смертельной опасности, нависшей над всеми. Гарсиа Лорке не пришлось извне прокладывать путь к своему народу; выросший в деревне, подобно Сергею Есенину, он чувствовал себя волной народного моря. Поэтому он был уверен, что пули, нацеленные в народ, его не минуют. Лорка действительно не входил ни в одну политическую партию, но твердо заявил, что причисляет себя к «партии бедняков», и говорил, что не рожден борцом, но сам был им. В 1936 году он участвовал в работе Мадридского союза антифашистской интеллигенции, созданного Рафаэлем Альберти. Лорка написал стихи о ночных призраках андалусских дорог — об испанской жандармерии. Жандармы не читают стихов, но эти стихи они знали: то был образ Дантовой силы, и смыть такие строки невозможно было даже кровью поэта.

На смерть Гарсиа Лорки уже наброшен покров легенды — народное сознание не мирится с бессмысленностью гибели дорогих людей. В этой легенде Лорка перед смертью импровизирует стихи, иногда приводятся и сами строки — в них, как в большинстве его стихов, есть луна и смерть.

В действительности все было просто и страшно. За последние годы тайна, окружавшая обстоятельства убийства, прояснилась; палачи стали словоохотливей и, наверное, станут еще словоохотливей: причастность к смерти великого человека — тоже своего рода шанс попасть в историю.

После захвата фашистами власти в Гранаде, владельцев автомашин обязали возить заключенных к месту казни. Один из них вез Лорку, его рассказ пока наиболее достоверное из того, что известно о гибели поэта.

В ночь на 19 августа Лорка был выведен из одиночной камеры и посажен в машину вместе с другим заключенным, стариком, имя которого осталось неизвестным. В машине было трое фалангистов. Отъехав от Гранады, они остановились в маленьком селении — дожидаться рассвета; по старой и во всех отношениях удобной традиции расстреливают всегда на рассвете. Гарсиа Лорка ничего не подозревал: заключенным сказали, что их отправляют в лагерь. На деревенской площади с неизменным фонтаном было пусто; вокруг этого фонтана они и прогуливались в ожидании утра, все вместе — палачи и жертвы. Лорка был оживлен: он истосковался в камере и опьянел от ночного воздуха, пения цикад, от теплой уличной пыли. И, кроме того, рядом были люди — какие ни на есть, но люди. Он говорил о театре. В последние годы он

бредил театром. Теперь он говорил о том, что в лагере хочет создать небольшую труппу из заключенных и, может быть, поставит свою пьесу. Фалангисты молча курили, и в темноте не видно было их лиц. Потом стало светать, они выехали из селения и остановились где-то на дороге. Первым увели старика. Лорка по-прежнему ничего не подозревал; только когда раздались выстрелы, он замолчал.

Он не хотел умирать. С трудом удалось оторвать его руки от борта машины; он плакал. Его хрупкое тело упорно сопротивлялось смерти, и после нескольких пуль он все еще пытался встать. Тогда один из фалангистов ногой придавил его к земле и выстрелил в лицо. Могила Лорки неизвестна.

А всего за какие-нибудь три-четыре месяца до этого поэт Хорхе Гильен говорил его отцу: «Если будет переворот и уцелеет один-единственный испанец, это будет Федерико». Трагическая ирония — так это называлось в античной драме.

Знали ли фалангисты подлинную цену человеку, которого убили? Для скудоумного гранадского мещанства, не шевельнувшего пальцем, чтобы спасти гордость Гранады, он был просто столичный поэт, «красный», ненавистный вдвойне,— человек из одного с ними города и совсем из другого мира. Но главари фаланги, отдавшие приказ о его убийстве, были, что называется, образованными людьми. По странной игре природы, Франсиско Франко не чувствует изящности словесности — его перу принадлежит вполне добротный нацистский опус, киносценарий «Раса» (пышно и безуспешно экранизированный).

Гарсиа Лорка был только одной из первых жертв, но далеко не единственной. Франкисты

сгноили в тюрьме Мигеля Эрнандеса — надежду молодой испанской поэзии; они уничтожили бы всю поэзию, будь это в их силах. Для строя, который держится на насилии и лжи, на моральной нечистоплотности правителей и духовной разобщенности людей, поэзия — враг. Враг извечный, беззащитный, непостижимый. И в конце концов побеждающий.

Пройдет столетие. Несколько историков будут помнить дату, когда генерал Франко выплыл на поверхность, и дату, когда он канул в небытие, как уже кануло до него столько тиранов, одинаково ненужных, бессмысленных, бесплодных — одинаково бездарных.

А жизнь поэта Федерико Гарсиа Лорки будет продолжаться, и в испанских школах будут учить его стихи, и на испанских улицах петь его песни. Их уже поют. Потому что, как говорит Федерико Гарсиа Лорка, «к счастью для поэзии и для поэтов есть еще моряки, поющие над морем, женщины, баюкающие детей в тени виноградных лоз, суровые пастухи на горных тропах; и, не давая погаснуть огню, страстный ветер поэзии всегда будет раздувать пламя, и будут петь женщины в тени виноградных лоз, пастухи на каменистых тропах и моряки над животворными ритмами моря».

А. Г Е Л Е С К У Л

КАНТЕ ХОНДО
(1921)

БАЛЛАДИЛЬЯ О ТРЕХ РЕКАХ

Гвадалквивир струится
в тени садов апельсиновых.
Твои две реки, Гранада,
бегут от снегов в долины.

*Ах, любовь,
ты исчезла навеки!*

В кудрях у Гвадалквивира
пламенеют цветы граната.
Одна — кровью, другая — слезами
льются реки твои, Гранада.

*Ах, любовь,
ты прошла словно ветер!*

Проложены по Севилье
для парусников дороги.
По рекам твоим, Гранада,
плавают только вздохи.

*Ах, любовь,
ты исчезла навеки!*

Гвадалквивир... Колокольня
и ветер в саду лимонном.
Дáуро, Хенíль, часовенки
мертвые над затоном.

*Ах, любовь,
ты прошла словно ветер!*

Но разве уносят реки
огни болотные горя?

*Ах, любовь,
ты исчезла навеки!*

Они апельсины и мирты
несут в андалусское море.

*Ах, любовь,
ты прошла словно ветер!*

СТИХИ О ЦЫГАНСКОЙ
СИГИРИЙЕ

ПЕЙЗАЖ

Масличная равнина
распахивает веер,
запахивает веер.
Над порослью масличной
склонилось небо низко,
и льются темным ливнем
холодные светила.
На берегу канала
дрожат тростник и сумрак,
а третий — серый ветер.
Полным-полны маслины
тоскливых птичьих криков.
О, бедных пленниц стая!
Играет тьма ночная
их длинными хвостами.

ГИТАРА

Начинается
плач гитары.
Разбивается
чаша утра.
Начинается
плач гитары.
О, не жди от нее
молчанья,
не проси у нее
молчанья!
Неустанно
гитара плачет,
как вода по каналам — плачет,
как ветр^а над снегами — плачет,
не моли ее
о молчанье!
Так плачет закат о рассвете,
так плачет стрела без цели,
так песок раскаленный плачет
о прохладной красе камелий.

Так прощается с жизнью птица
под угрозой змеиного жала.
О гитара,
бедная жертва
пяти проворных кинжалов!

К Р И К

Эллипс крика
пронзает навывлет
молчание гор,

и в лиловой ночи,
над зелеными купами роц,
вспыхнет черной радугой он.

А-а-а-а-ай!

И упругим смычком
крик ударил
по туго натянутым струнам,
и запела виола ветров.

А-а-а-а-ай!

(Люди в пещерах
вдруг погасили свечи.)

А-а-а-а-ай!

Т И Ш И Н А

Слушай, мой друг, тишину.
Полна она шумом волн,
полна она эхом гор.
Тишина
склонила свое лицо
к земле.

ПОСТУПЬ СИГИРИЙ И

Бьется о смуглые плечи
бабочек черная стая.
Белые змеи тумана
след заматают.

И небо земное
над млечной землею.

Идет она пленницей ритма,
который настичь невозможно,
с тоскою в серебряном сердце,
с кинжалом в серебряных ножнах.

Куда ты несешь, сигирийя,
агонию певчего тела?
Какой ты луне завещала
печаль олеандров и мела?

И небо земное
над млечной землею.

С Л Е Д О М

Смотрят дети,
дети смотрят вдаль.

Гаснут медленные свечи.
И две девушки слепые
задают луне вопросы,
и уносит к звездам ветер
плача тонкие спирали.

Смотрят горы,
горы смотрят вдаль.

А ПОТОМ...

Прорытые временем
лабиринты —
исчезли
Пустыня —
осталась.

Немолчное сердце —
источник желаний —
иссякло.
Пустыня —
осталась.

Закатное марево
и поцелуи —
пропали.
Пустыня —
осталась.

Умолкло, заглохло,
остыло, иссякло,
исчезло.
Пустыня —
осталась.

СТИХИ О СОЛЕА¹

* * *

Суша земля,
тиха земля
ночей
безмерных.

(Ветер в оливах,
ветер в долинах.)

Стара
земля
дрожащих
свечек.

Земля
озер подземных.

Земля
летающих стрел,
безглазой смерти.

(Вихрь в полях,
ветерок в тополях.)

¹ Солеá (от исп. soledad — одиночество) — протяжная песня, исполняемая в Андалусии обычно женщинами.

СЕЛЕНЬЕ

На темени горном,
на темени голом —
часовня.
В жемчужные воды
столетние никнут
маслины.
Расходятся люди в плащах,
а на башне
вращается флюгер.
Вращается денно,
вращается ночью,
вращается вечно.

О, где-то затерянное селенье
в моей Андалусии
слезной...

К И Н Ж А Л

Кинжал,
ты в сердце вонзаешь,
как в тяжелую залежь,
свой лемех стальной.

Нет.
Не в меня.
Нет.

Кинжал,
в этой узкой щели,
как солнце в ущелье,
разжигает пожар.

Нет.
Не в меня.
Нет.

П Е Р Е К Р Е С Т О К

Восточный ветер.
Фонарь и дождь.
И прямо в сердце —
нож.
Улица —
дрожь
натянутого
провода,
дрожь
огромного овода.
Со всех сторон,
куда ни пойдешь,
прямо в сердце —
нож.

А й!

Крик оставляет в ветре
тень кипариса.

(Оставьте в поле меня, среди мрака —
плакать.)

Ведь все разбито,
одно молчанье со мною.

(Оставьте в поле меня, среди мрака —
плакать.)

Тьму горизонта
обгладывают костры.

(Я же сказал вам: оставьте,
оставьте в поле меня, среди мрака —
плакать.)

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?!

На улице он лежит,
с ножом в груди.
Никто его здесь не знает.
Как над ним огонек дрожит,
родная!
Это ветер фонарь
качает...
В открытых его глазах
бледный рассвет остывает.
В лицо ему утро глядит.
Там, на улице, он лежит,
с ножом в груди,
и никто его здесь не знает.

СОЛЕА

Одетой в черное платье,
весь мир ей кажется малым,
а сердце — большим необъятно.

Одетой в черное платье.

Ей кажется, горькие стоны
и нежные страстные вздохи
в потоке ветра утонут:

Одетой в черное платье.

Балкон остался открытым,
и сквозь перила балкона —
заря по небу разлита.

*Ай-яй-яй-яй-яй,
одетой в черное платье!*

ПЕЩЕРА

Протяжны рыдания
в гулкой пещере.

(Свинцовое
тонет в багряном.)

Цыган вспоминает
дороги кочевий.

(Зубцы крепостей
за туманом.)

А звуки и веки —
что вскрытые вены.

(Черное
тонет в багряном.)

И в золоте слез
расплываются стены.

(И золото
тонет в багряном.)

ВСТРЕЧА

Теперь ни к чему ни тебе, ни мне
встречаться
наедине.
Ты сама... понимаешь вполне.
Я так любил ее, господи боже!
Ступай же тихонько по этой дорожке.
Как на распятыях,
следы от гвоздей
у меня на запястьях.
Ты видишь кровавую тень
впереди?
Никогда не оглядывайся, иди,
и молись в глубине
Каэтану святому,
и скажи ему в тишине,
что теперь ни к чему ни тебе, ни мне
встречаться
наедине.

З А Р Я

Колоколам Кóрдовы
зорька рада.
В колокола звонкие
бей, Гранада.
Колокола слушают
из тумана
андалусские девушки
утром рано.
Все девчонки Испании
с тонкой ножкой,
что на звездочки ранние
глядят в окошко
и, под шаялами зыбкими,
в час прогулки
освещают улыбками
переулки.
Ах, колоколам Кордовы
зорька рада.
Ах, в колокола звонкие
бей, Гранада!

СИЛУЭТ ПЕТЕНЕРЫ

КОЛОКОЛ

(Привет)

На желтой башне
колокол
звонит.

На желтом ветре
звон
плывет в зенит.

Над желтой башней
тает звон.

Из пыли
бриз мастерит серебряные кили.

Д О Р О Г А

Сто всадников, одетых в траур,
куда спешат
по апельсинным рощам неба
в закатный час?
Ни Кордовы и ни Севильи
им не видать,
ни той Гранады, что по морю
грустит всегда.
Их кони, полны сонной дремы,
несут туда,
где лабиринт крестов склоненных,
где песнь моя...
Куда, издав семь воплей скорбных,
куда спешат
по апельсинным рощам неба
сто этих андалусцев конных
в закатный час?

ШЕСТЬ СТРУН

Гитара,
и во сне твои слезы слышу.
Рыданье души усталой,
души погибшей
из круглого рта твоего вылетает,
гитара.
Тарантул плетет проворно
звезду судьбы обреченной,
подстерегая вздохи и стоны,
плывущие тайно в твоём водоеме
черном.

ТАНЕЦ

(В саду петенеры)

В ночи сада,
выбеленной мелом,
пляшут шесть цыганок
в белом.

В ночи сада...
Розаны и маки
в их венках из крашеной
бумаги.

В ночи сада...
Будто пламя свечек,
сумрак обжигают
зубы — жемчуг.

В ночи сада,
за одной другая,
тени всходят, неба
достигая.

С М Е Р Т Ь П Е Т Е Н Е Р Ы

В белом домике скоро отмучится
петенера, цыганка-разлучница.

*Кони мотают мордами.
Всадники мертвые.*

Колеблется, догорая,
свеча в ее пальцах нетвердых,
юбка ее из муара
дрожит на бронзовых бедрах.

*Кони мотают мордами.
Всадники мертвые.*

Острые черные тени
тянутся к горизонту.
И рвутся гитарные струны
и стонут.

*Кони мотают мордами
Всадники мертвые.*

ФАЛЬСЕТА¹

(По гробнице петенера)

Ай, петенера-цыганка!
Ай-йай, петенера!
И место, где ты зарыта,
забыто, наверно.
И девушки, у которых
невинные лица,
не захотели, цыганка,
с тобою проститься.
Шли на твое погребенье
пропащие люди,
люди, чей разум не судит,
а любит,
шли за тобой, плача,
по улице тесной.
Ай-йай, моя петенера,
цыганская песня!

¹ Фальсета — интерлюдия, исполняемая гитаристом между куплетами песни.

DE PROFUNDIS¹

Сто горячо влюбленных
сном вековым уснули
глубоко́ под сухой землею.
Красным песком покрыты
дороги Андалусии.
Ветви олив зеленых
Кóрдову заслонили.
Здесь им кресты поставят,
чтоб их не забыли люди.
Сто горячо влюбленных
сном вековым уснули.

¹ Из глубины (лат.); начальные слова католического гимна, исполняющегося при заупокойной службе.

В О П Л Ъ

На желтой башне
колокол
звенит.

На желтом ветре
звон
плывет в зенит.

Дорогой, обрамленной плачем,
шагает смерть
в венке увядшем.

Она шагает
с песней старой,
она поет, поет,
как белая гитара.

Над желтой башней
тает
звон.

Из пыли
бриз мастерит серебряные кили.

СТИХИ О САЭТЕ¹

ЛУЧНИКИ

Смуглые лучники
к Севилье подходят.
О, Гвадалквивир широкий!

Большие серые шляпы,
плащей ниспадающих шелест.
Ах, Гвадалквивир!

Идут они издалека,
из дальней страны печальной.
О, Гвадалквивир широкий!

Идут они к лабиринту
любви, хрусталя и камня.
Ах, Гвадалквивир!

¹ Саэта — буквально: «стрела»; народная песня, исполняемая без музыкального сопровождения во время религиозных шествий на страстной неделе.

Н О Ч Ь

Свеча и светляк,
фонарь и светильник.

Созвездье
сазты.

Золотые оконца —
кресты над крестами —
задрожат, встрепенутся
в лучах рассвета.

Свеча и светляк,
фонарь и светильник.

СЕВИЛЬЯ

Севилья подобна башне,
где ловкие лучники скрыты.

*В Севилье от ран страдать.
В Кóрдове — умирать.*

Город подстерегает
тягучие ритмы,
свернув их спиралью,
как лабиринты,
как стебли вьющихся лоз,
что сами огнем обвиты.

В Севилье от ран страдать!

По равнине ее прозрачной,
под аркою неба сияя,
река стрелою летит,
стрелою река сверкает.

В Кордове — умирать!

Обезумев от горизонта,
она в свой напиток чистый
льет горечь и боль Дон-Жуана
и лучший дар Диониса.

*В Севилье от ран страдать!
Всегда там от ран страдать.*

ПРОЦЕССИЯ

По тихому переулку
шагают единороги.
Откуда они явились?
Из леса какой мифологии?
А потом показались
астрономы строгие,
сказочные Мерлины,
духи чистые и нечистые,
заколдованный Дурандарте
и Орландо неистовый.

Ш Е С Т В И Е

Пресвятая дева
Соледад,
в пышной юбке, как расцветший
тюльпан,
в своей лодке из света
поплыла
по течению города,
под саэты,
среди звезд из стекла.
Пресвятая дева
Соледад,
рекою улицы плывешь ты
к морю, вдаль.

С Л Э Т А

Смуглый Христос
переходит
из ириса Иудеи
в гвоздику Испании.

Смотрите, вот он идет!

Испания.
Земля сухая,
небо чистое тускло,
вода течет медленно
в высохших руслах.
Смуглый Христос
с прядями выгоревших волос,
с резкими скулами
и зрачками белыми.

Смотрите, вот он идет!

БАЛКОН

Лола
поет саэты.
Стоят тореро
у парапета.
И брадобрей
оставил бритву
и головою
вторит ритму.
Среди герани
и горицвета
свои саэты
поет Лолита —
та непоседа,
что вечно глядится
в воду бассейна.

РАССВЕТ

Певцы саэт,
вы слепы,
как любовь.

В ночи зеленой
стрелами саэт
пробит каленый
ирисовый след.

На туче парус
клонится косой.
Полны колчаны
утренней росой.

Но слепы лучники —
ах, слепы,
как любовь!

Д В Е Д Е В У Ш К И

Л О Л А

Лола стирает пеленки
под апельсинной листвой.
Взгляд у нее — зеленый,
голос ее — голубой.

Ах, под оливой
была я счастливой!

Солнце, купаясь в канаве,
плещется около ног,
воробушек на оливе
пробует свой голосок.

Ах, под оливой
была я счастливой!

Когда же у Лолы мыла
измылится весь кусок,
ее навестят торерильо.

Ах, под оливой
была я счастливой!

А М П А Р О

Какая в тебе одинокость,
Ампаро,
одетая в белое!

(Между дневной белизной жасмина
и ночной белизной туберозы —
экватор.)

Ты слышишь чудесное пенье
фонтана во дворике старом
и хрупкие желтые трели
своей канарейки.

Следишь кипарисов дрожанье,
и птичий полет наблюдаешь,
и медленно вышиваешь
на ткани простые буквы.

Ампаро,
одетая в белое,

какая в тебе одинокость!
И как мне вымолвить трудно:
люблю я тебя,
Ампаро!

Т Р И Г О Р О Д А

М А Л А Г Е Н Ъ Я ¹

Смерть вошла
и ушла
из таверны.

Черные кони
и темные души
в ущельях гитары
бродят.

Запахли солью
и женскою кровью
соцветия зыби
нервной.

¹ Малагенья (от названия города Малага) — андалусская песня, сопровождаемая танцем.

А смерть
все выходит и входит,
выходит и входит...

А смерть
все уходит —
и все не уйдет из таверны.

КВАРТАЛ КОРДОВЫ

За переплеты окон
люди от звезд укрылись.
И хлынула ночь потоком.
У девушки мертвой,
у девушки в белом платье,
алая роза зарылась
в темные пряди.
Плачут за окнами
три соловьиных пары.

И вторит мужскому вздоху
открытая грудь гитары.

ТАНЕЦ

Танцует в Севилье Кармен
у стен, голубых от мела.
И жарки зрачки у Кармен,
а волосы снежно-белы.

Невесты,
закройте ставни!

Змея в волосах желтеет,
и словно из дали дальней,
танцуя, встает былое
и бредит любовью давней.

Невесты,
закройте ставни!

Пустынны дворы Севильи,
и в их глубине вечерней
сердцам андалусским снятся
следы позабытых терний.

Невесты,
закройте ставни!

ИЗ РАЗНЫХ ЦИКЛОВ

СВЕЧА

В каком большом раздумье
свечи высокой пламя!

Оно, как маг индийский,
свое золотое чрево
разглядывая, гаснет,
мечтая о безветрии.

Как раскаленный аист,
из своего гнезда
выклевывает тени
и смотрит, содрогаясь,
в глубокие глазницы
убитого цыгана.

М Е М Е Н Т О¹

Когда умру,
схороните меня с гитарой
в речном песке.

Когда умру...
В апельсиновой роще старой,
в любом цветке.

Когда умру,
буду флюгером я на крыше,
на ветру.

Тише...
когда умру!

¹ Помни (лат.).

ЦЫГАНСКИЙ
РОМАНСЕРО
(1924-1927)

РОМАНС О ЛУНЕ, ЛУНЕ

Луна в жасминовой шали
явилась в кузнию к цыганам.
И смотрит, смотрит ребенок,
и смутен взгляд мальчугана.
Луна закинула руки
и дразнит ветер полночный
своей оловянной грудью,
бесстыдной и непорочной.

— Луна, луна моя, скройся!

Если вернутся цыгане,
они возьмут твое сердце
и серебра начеканят.

— Не бойся, мальчик, не бойся,
взгляни, хорош ли мой танец!

Когда вернутся цыгане,
ты будешь спать и не встанешь.

— Луна, луна моя, скройся!

Мне конь почудился дальний.

— Не трогай, мальчик, не трогай
моей прохлады крахмальной!

Дорогою мчится всадник
и бьет в барабан округи.
На ледяной наковальне
сложены детские руки.

Прикрыв горделиво веки,
покачиваясь в тумане,
из-за оливо выходят
бронза и сон — цыгане.

В роще сова зарыдала
так безутешно и тонко!
За ручку в темное небо
луна уводит ребенка.

Вскрикнули в кузне цыгане,
эхо проплакало в чащах...
А ветры пели и пели
за упокой уходящих.

ПРЕСЬОСА И ВЕТЕР

Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно,
среди хрусталей и лавров
бродя по тропинке млечной.
И, бубен ее заслыша,
бежит тишина в обрывы,
где море в недрах колышет
полуночь, полную рыбы.
На скалах солдаты дремлют
в беззвездном ночном молчанье
на страже у белых башен,
в которых спят англичане.
А волны, цыгане моря,
играя в зеленом мраке,
склоняют к узорным гротам
сосновые ветви влаги...

Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно.
И обратнем полночным
к ней ветер спешит навстречу.

Встает святым Христофором
нагой великан небесный,
маня колдовской волынкой,
зовет голосами бездны.
— О, дай мне скорей, цыганка,
откинуть подол твой белый!
Раскрой в моих древних пальцах
лазурную розу тела!

Пресьоса роняет бубен
и в страхе летит, как птица.
За нею косматый ветер
с мечом раскаленным мчится.

Застыло дыханье моря,
забились бледные ветви,
запели флейты ущелий,
и гонг снегов им ответил.
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Все ближе зеленый ветер!
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Он ловит тебя за плечи!
Сатир из звезд и туманов
в огнях сверкающей речи...

Пресьоса, полная страха,
бежит по крутым откосам
к высокой, как сосны, башне,
где дремлет английский консул.
А следом, подняв тревогу,
на крики спешат солдаты
в заломленных набок шляпах,
в широких плащах крылатых.

Несет молока ей консул,
дает ей воды в бокале,
подносит ей рюмку водки,—
Пресьоса не пьет ни капли.
Она и словечка молвить
не может от слез и дрожи.

А ветер хрипит на кровле
и скат черепичный гложет.

СОМНАМБУЛИЧЕСКИЙ РОМАНС

Люблю тебя в зелень одетой.
И ветер зелен. И листья.
Корабль на зеленом море,
и конь на горе лесистой.
До пояса в темноте,
мечтает она у ограды,
и зелены волосы, тело,
глаза серебра прохладней.
Люблю тебя в зелень одетой.
Цыганский месяц тревожен.
Глядят на нее предметы,
она их видеть не может.

Люблю тебя в зелень одетой.
Как звезды, иней сияет,
как рыба — потемки скользки,
дорогу заре открывая.
Смоковница трется о ветер,
как лапой, веткой шершавой,
гора — дикобраз огромный —
щетинится каждой агавой.
Но кто же придет? И откуда?..

Она все стоит у забора,
и зелены волосы, тело,
и видит горькое море.
— Сосед, на ее каморку
коня своего я сменял бы,
на зеркало — сбрую с седлом,
мой нож — на ее одеяло.
Сосед, я пришел весь в крови
из Кабры, с гор, с перевала.
— Будь воля моя, паренек,
давно состоялась бы мена.
Но я-то уже не я,
и не мои эти стены.
— Сосед, я хочу умереть
в своей кровати, как должно:
на прутьях стальных с простынями
голландскими, если можно.
Ты разве не видишь, что рана
раскрыла мне грудь до горла?
— На белой груди твоей
три сотни розанов черных.
Сочится и пахнет кровь,
кушак твой весь в красной пене.
Но я-то уже не я,
и не мои эти стены.
— Так дай мне, по крайней мере,
подняться к высокой ограде!
О, дайте, дайте подняться
к зеленой лунной ограде!
За нею вода грохочет,
там воду всегда лихорадит.

И вот к высокой ограде
подходят оба соседа.

И кровь по следу сочится.
И льются слезы по следу.
Фонарики жестяные
на черепицах мерцали,
и ранили раннее утро
хрустальные бубны печали.

Люблю тебя в зелень одетой.
И ветер зелен. И листья.
И вот добрались соседи.
А ветер с горы лесистой
во рту оставляет привкус
полыни и ягоды волчьей.
— Сосед! Но где ж твоя дочка,
что горше мяты и желчи?
Я ждал ее столько раз!
Я ждал, и касалась прохлада
лица и черных волос
у этой зеленой ограды.

Покачивалась цыганка
в бассейне на водной глади.
Зеленые волосы, тело,
глаза серебра прохладней.
И лунная льдинка ее
поддерживает над волнами.
А ночь уютна, как площадь,
зажатая между домами.
Гвардейцы гражданские спянна
стучали в дверь кулаками.
Люблю тебя в зелень одетой.
И ветер зелен. И листья.
Корабль на зеленом море,
и конь на горе лесистой.

С Х В А Т К А

В черных глубинах ущелья
две альбасетских навахи,
красуясь вражеской кровью,
блестят, как рыбы, во мраке.
Под острой иглою света
из резкой листвы возникли
морды коней иступленных,
профили всадников диких.
Горестно плачут старухи
под сенью древней оливы.
Неистовый бык раздора
кидается на обрывы.
Черные ангелы смерти
приносят лед и рубахи,
ангелы, чье оперенье —
блеск альбасетской навахи.
Хуан Антонио Монтильский
катится мертвый по скатам.
Тело исполнено лилий,
лоб расцветает гранатом.
Огненный крест пламенеет
над этой дорогой ада.

Судья и за ним жандармы
проходят сквозь тень маслины.
Кровь, пробиваясь из раны,
стонет напевом змеиным.
— Сеньоры жандармы, это
обычные приключенья.
Погибло четверо римлян
и пятеро карфагенян.

Сойдя с ума от смоковниц,
от жгучих, странных звучаний,
вечер упал, бездыханный,
приникнув к смертельной ране.
Черные ангелы реют
в закатном небе укором,—
ангелы с ликом цыганок
и с бальзамическим взором.

РОМАНС
О ЧЕРНОЙ ПЕЧАЛИ

Ищут зарю петухи,
землю мучительно роя,
когда спускается с гор
во мрак Соледад Монтойя.
Желтая медь — ее тело —
веет пустыней и тьмою.
Груди ее — наковальни —
круглыми песнями ноют.
— Что, Соледад, тебе нужно?
Одна ты? Время ночное.
— Мне нужно то, что мне нужно.
Оставь ты меня в покое!
Я знаю, чего искать мне:
себя, веселье былое.
— О Соледад, мое горе!
Взбесившись, злая кобыла
мчится и падает в море,
и море — ее могила.
— Не говори мне о море!
Ведь травы черной печали

растут на земле маслин,
где листья шумят ночами.
— О Соледад, ты печаль,
сама печаль и страданье!
Ты плачешь лимонным соком,
едким от дней ожиданья.
— Печаль? Бегу, обезумев,
в путь незнакомый и дальний.
По полу тянутся косы
от кухни до самой спальни.
Печаль? Я нынче оделась
углем, и мглою, и мраком.
О, свежесть моих сорочек!
О, юбки мои из мака!
— Омойся водой голубок
и сердце оставь в покое,
усни, моя Соледад,
усни, Соледад Монтойя!

Внизу напевают реки —
качели листвы и ветра.
Вверху обновленный месяц
увенчан тыквенным цветом.
О, злая печаль цыганок,
всегда заветные недра,
печаль сокрытого русла
и медленного рассвета!

РОМАНС ОБРЕЧЕННОГО

Как сиро все и устало!
Два конских ока огромных
и два зрачка моих малых
ни в даль земную не смотрят,
ни в те края, где на челнах
уплывший сон поднимает
тринадцать вымпелов черных.
Мои бессонные слуги,
они все смотрят с тоскою
на север скал и металлов,
где призрак мой над рекою,
колоду карт ледяную
тасует мертвой рукою...

Тугие волны речные ¹
в осоке и остролистах
бодали мальчишек, плывших
на лунах рогов волнистых.

¹ Речными волами в Андалусии называют участок реки со спокойным и сильным течением.

А молоточки пели
сомнамбулическим звоном,
что едет бессонный всадник
верхом на коне бессонном.

Двадцать шестого июня
отдал судья приказанье.
Двадцать шестого июня
люди Амарго сказали:
— Можешь срубить олеандры
перед дверями своими.
Крест начерти на пороге —
и напиши свое имя.
Взойдет над тобой цикута,
и прах порастет бурьяном,
и скользкой змеею известь
прильнет к сапогам сафьянным.
И будет то черной ночью
в магнитных горах высоких,
где дремлют волны речные
и пьют тишину осоки.
Учись же скрещивать руки,
готовь лампаду и ладан
и пей этот горный ветер,
холодный от скал и кладов.
Два месяца эти минут —
на третий сойдешь в могилу.

Мерцающий млечный меч
Сант-Яго из ножен вынул.
Прогнулось ночное небо,
глухой тишиною хлынув.

Двадцать шестого июня
глаза он открыл — и снова

закрыл их, уже навеки,
августа двадцать шестого...
Люди сходились на площадь,
где у стены на каменья
сбросил усталый Амарго
груз одинокого бденья.
И с непреклонностью римской,
прямоугольной и точной,
нес равновесие смерти
край простыни непорочной.

С А Н - Г А Б Р И Э Л Ъ

(Севилья)

I

Высокий и узкобедрый,
стройней тростников лагуны,
идет он, кутая тенью
глаза и грустные губы;
поют горячие вены
серебряною струною,
а кожа в ночи мерцает,
как яблоки под луною.
И туфли мерно роняют
в туманы лунных цветений
два такта грустных и кратких,
как траур облачной тени.
И нет ему в мире равных —
ни пальмы в песках кочевий,
ни короля на троне,
ни в небе звезды вечерней.
Когда над яшмовой грудью
лицо он клонит в моление,

ночь на равнину выходит,
чтобы упасть на колени.
И недруга ив плакучих,
властителя бликов лунных,
архангела Габриэля
в ночи заклинают струны.
— Когда в материнском лоне
послышится плач дитяти,
припомни цыган бродячих,
тебе подаривших платье!

II

Анунсиасьон де лос Рейес
за городской стеною
встречает его, одета
лохмотьями и луною.
И с лилией и улыбкой,
склоняясь в поклоне плавном,
предстал Габриэль-архангел,
Хиральды прекрасный правнук.

Таинственные цикады
по бисеру замерцали.
А звезды по небосклону
рассыпались бубенцами.

— О Сан-Габриэль, мне тело
иглою пронзила нежность!
Твой блеск моих щек горящих
коснулся жасмином снежным.
— С миром, Анунсиасьон,
о смуглое чудо света!

Дитя у тебя родится
прекрасней ночного ветра.
— Ай, свет мой Габриэлильо!
Ай, Сан-Габриэль пресветлый!
Я б ложе твое заткала
гвоздикой и горицветом!
— С миром, Анунсиасьон,
звезда под бедным нарядом!
Найдешь ты в груди сыновней
три раны с родинкой рядом.
— Ай, свет мой Габриэлильо!
Ай, Сан-Габриэль пресветлый!
Как ноет под левой грудью,
теплом молока согретой!
— С миром, Анунсиасьон,
о мать царей и пророчиц!
Цыганам светят в дороге
твои горячие очи.

Дитя запеваает в лоне
у матери изумленной.
Дрожит в голосочке песня
миндалинкою зеленой.
Архангел восходит в небо
ступенями сонных улиц...

А звезды на небосклоне
в бессмертники обернулись.

САН-РАФАЭЛЬ

(*Кордова*)

I

Смутно уходят упряжки
в край тишины тростниковой
мимо отмытого влагой
римского торса нагого.
Гвадалквивирские волны
стелят их в зеркале плесов
меж гравированных листьев
и грозových отголосков.
И возле старых повозок,
в ночи затерянных сиром,
поют, вышивая, дети
про вечную горечь мира.
Но Кордове нет печали
до темных речных дурманов,
и как ни возводит сумрак
архитектуру туманов —
не скрыть ее ног точеных
нетленный и чистый мрамор.
И хрупким узором жести

дрожат лепестки флюгарок
на серой завесе бриза
поверх триумфальных арок.
И мост на десять ладов
толкует морские вести,
пока контрабанду вносят
по старой стене в предместья.

II

Одна лишь речная рыбка
иглой золотой сметала
Кордову ласковых плавней
с Кордовой строгих порталов.
Сбрасывают одежду
дети с бесстрастным видом,
тоненькие Мерлины,
ученики Товита,
они золотую рыбку
коварным вопросом бьют:
не краше ль винные розы,
чем пляшущий полумесяц?
Но рыбка их заставляет,
туманя мрамор холодный,
перенимать равновесье
у одинокой колонны,
где сарацинский архангел,
блеснув чешуей доспеха,
когда-то в волнах гортанных
обрел колыбель и эхо...

Одна золотая рыбка
в руках у красавиц Кордов:
Кордовы, зыблемой в водах,
и горней Кордовы гордой.

С А Н - М И Г Е Л Ъ

(Г р а н а д а)

С подсолнухами в корзинах
проходят шагом упорным
мулы и тени от мулов
в горы, и в горы, и в горы.

Огромной тьмою в ущельях
у них окутаны взоры.
В глубинах воздуха тихо
скрипят соленые зори.

Белея мулами, небо
закрыло ртутные очи,
даруя застывшей тени
предсмертный вздох одиночеств.

Воды, безумные воды
у горных черных отрогов
внезапно оделись в холод,
чтобы никто их не трогал.

Красуясь стройнейшим станом,
сияющим фонарями,
в своем алькове на башне
возник Сан-Мигель над нами.

Архистратиг прирученный,
тешась притворством невинным,
пылает сладостным гневом
в неистовстве соловьином.

Благоухая духами,
чуждый цветущим жасминам,
эфеб трех тысяч ночей,
поет он в стекле старинном.

Море на всем побережье
пляшет поэму балконов.
Заливы луны пустеют
и оглашаются звоном.

Грызя подсолнухи, входят
работницы из округи.
Подобно медным планетам,
крутые бедра округлы.

Являются кабальеро
и дамы с профилем юным,
темнеющие в томленьи
по соловьиным канунам.

И сам епископ манильский,
слепой, шафранный и хворый,
в изнеможенье служит
мессу для дам и сеньоров.

Сверкая шелками юбок,
усыпанных жемчугами,
в своем алькове на башне
Мигель почиет над нами,—
Мигель, король гемисферы,
властитель нечетных чисел,
в берберском великолепье
взываний, террас и высей.

НЕВЕРНАЯ ЖЕНА

И в полночь на край долины
увел я жену чужую,
а думал — она невинна...

То было ночью Сант-Яго,
и, словно сговору рады,
в округе огни погасли
и замерцали цикады.
Я сонных грудей коснулся,
последний проулок минув,
и жарко они раскрылись
кистями ночных жасминов.
А юбка, шурша крахмалом,
в ушах звенела, дрожала,
как полог тугого шелка
под сталью пяти кинжалов.
Врастая в безлунный сумрак,
ворчали деревья глухо,
и дальним собачьим лаем
за нами гналась округа...

За ежевикою сонной
у тростникового плеса
я в белый песок впечатал
ее смоляные косы.
Я сдернул шелковый галстук.
Она наряд разбросала.
Я снял ремень с кобурой,
она — четыре корсажа.
Такой белизны не ведать
шелкам и цветущим сливам;
стеклу под луной не вспыхнуть
таким голубым отливом.
Испуганно бедра бились,
как пойманные форели,
то лунным холодом стыли,
то белым огнем горели.
И лучшей в мире дорогой
до первой утренней птицы
меня этой ночью мчала
атласная кобылица...

Мужчине чужие тайны
рассказывать не пристало.
И я повторять не стану
слова, что она шептала.
В песчинках и поцелуях
она ушла на рассвете.
Кинжалы трэфовых лилий
вдогонку рубили ветер.

Я вел себя так, как должно,—
цыган до смертного часа.
Я дал ей ларец на память
и больше не стал встречаться,

запомнив обман той ночи
в туманах речной долины,—
она ведь была замужней,
а мне клялась, что невинна.

ЦЫГАНКА - МОНАХИНЯ

Безмолвье мирта и мела.
И мальвы в травах ковровых.
Она левкой вышивает
на желтой ткани покрывала.
Кружится свет семиперый
над серою сетью лампы.
Собор, как медведь цыганский,
ворчит, поднимая лапы.
А шьет она так красиво!
Склонясь над иглой в экстазе,
всю ткань бы она покрыла
цветами своих фантазий!
Какие банты магнолий
в росинках блесков стеклянных!
Как лег на складки покрывала
узор луны и шафрана!
Из кухни пять апельсинов
струируют волну аромата.
Пять сладостных ран Христовых
из альмерийского сада.

Вдали, в зрачках раздвоившись,
внезапно всадник проехал.
Тугую грудь колыхнуло
последним отзвуком эха.
И от далеких нагорий
с дымною мглой по ущельям
сжалось цыганское сердце,
полное медом и хмелем.
О, как равнина крутая
сотнею солнц заплескала!
О, как, сознание туманя,
вздыбились реки и скалы!..
Но снова цветы на ткани,
и свет предвечерья кроткий
в шахматы с ветром играет
возле оконной решетки.

КАК СХВАТИЛИ
АНТОНЬИТО ЭЛЬ КАМБОРЬО
НА СЕВИЛЬСКОЙ ДОРОГЕ

Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо сын горделивый,
в Севилью смотреть корриду
шагает с веткою ивы.
Зеленой луны смуглее,
шагает, высок и тонок.
Блестят над глазами кольца
его кудрей вороненых.
Лимонов на полдороге
нарезал он близ канала
и долго бросал их в воду,
пока золотой не стала.
И где-то на полдороге,
в тени тополиных листьев,
его повели жандармы,
скрутив за спиною кисти.

Медленно день уходит
поступью матадора

и алым плащом заката
обводит моря и доли.
Тревожно чуют оливы
вечерний бег Козерога,
а конный ветер несется
в туман свинцовых отрогов.
Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо сын горделивый,
среди пяти треуголок
шагает без ветки ивы...

Антоньо! И это ты?
Да будь ты цыган на деле,
здесь пять бы ручьев багряных
стекая с ножа, запели!
И ты еще сын Камборьо?
Подкинут ты в колыбели!
Один на один со смертью,
бывало, в горах сходились.
Да вывелись те цыгане!
И пылью ножи покрылись...

Открылся засов тюремный,
едва только девять било.
А пять полевых жандармов
вином освежили силы.

Закрылся засов тюремный,
едва только девять било...
А небо в ночи сверкало,
как круп вороной кобылы!

СМЕРТЬ АНТОНЬИТО
ЭЛЬ КАМБОРЬО

Смертное эхо уносит
Гвадалквивира поток.
Древнее эхо, где тонет
голоса алый цветок.
Рвался он раненым вепрем,
бился у ног на песке,
взмывленным телом дельфина
взвился в последнем броске;
вражеской кровью омыл он
свой кармазинный платок.
Но было ножей четыре,
и выстоять он не мог.
И в час, когда звезды в заводь
вонзают холодный свет,
в час, когда снится телятам
алых плащей горицвет, —
хлынуло смертное эхо
Гвадалквивиру вослед.

Антоньо Торрес Эредья,
прядь — вороненый виток,

зеленолунная смуглость,
голоса алый цветок!
Кто ж напоил твоей кровью
гвадалквивирский песок?
— Четверо братьев Эредья
мне приходились сродни.
То, что другому прощалось,
мне не простили они.
И алых туфель сафьянных,
и то, что кольца носил,
а плоть мою на оливках
с жасмином бог замесил.
— Ай, Антоньито Камборьо,
лишь королеве под стать!
Душу вручи Непорочной —
время пришло умирать.
— Ай, Федерико Гарсиа,
кликни жандармов сюда!
Тело мое уже сникло,
словно тростник у пруда.

Четыре всплеска кровавых —
и профиль в алой траве.
Живая медаль, которой
уже не отлить вовек.
С земли на бархат подушки
его кладет серафим.
И смуглых ангелов руки
зажгли светильник над ним.
И в час, когда четверо братьев
вернулись в город родной,
смертное эхо затихло
гвадалквивирской волной.

ПОГИБШИЙ ИЗ-ЗА ЛЮБВИ

- Что это светится ночью
на галерее высокой?
— Одиннадцать бьет на башне,—
сын мой, задвинь засовы.
— Четыре огня горят там,
дрожа четырьмя лучами.
— Наверное, то цыгане,
лудящие медь ночами.

Луна, чесночная долька,
тускнея от смертной боли,
роняла желтые кудри
на желтые колокольни.
По улицам кралась полночь,
стучась у закрытых ставней,
а следом за ней собаки
гнались стоголосой стаей,
и запах вина янтарный
в ночных галереях таял.
Сырая осока ветра
и старческий шепот тени

под ветхой аркою ночи
будили гул запустенья.
Уснули волы и розы.
И только в оконной створке
четыре луча зывали,
как гневный святой Георгий.

Грустили невесты-травы,
а кровь застывала коркой,
как сорванный мак, сухою,
как юные бедра, горькой.
Рыдали седые реки,
в туманные горы глядя,
и в замерший миг вплетали
обрывки имен и прядей.
А ночь квадратной и белой
была от стен и балконов.
Цыгане и серафимы
коснулись аккордеонов.
— Если умру я, мама,
будут ли знать про это?
Синие телеграммы
ты разошли по свету!..

Семь воплей, семь ран багряных,
семь диких маков махровых
разбили тусклые луны
в залитых мраком альковах.
И зыбью рук отсеченных,
венков и спутанных прядей
бог знает где отозвалось
глухое море проклятий.

И в двери ворвалось небо
лесным рокотаньем дали.
А в ночь с галерей высоких
четыре луча зывали.

РОМАНС ОБ ИСПАНСКОЙ
ЖАНДАРМЕРИИ

Их кони черным-черны,
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
блестят восковые пятна.
Надежен свинцовый череп —
заплакать жандарм не может;
идут, затянув ремнями
сердца из лаковой кожи.
Полуночны и горбаты,
несут они за плечами
песчаные смерчи страха,
клейкую тьму молчанья.
От них никуда не деться —
мчат, затая в глубинах
тусклые зодиаки
призрачных карабинов.

О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь увешан.
Желтеют луна и тыква,
играет настой черешен.

И кто увидал однажды—
забудет тебя едва ли,
город имбирных башен,
мускуса и печали!

Ночи, колдующей ночи
синие сумерки пали.
В маленьких кузнях цыгане
солнца и стрелы ковали.
Плакал у каждой двери
израненный конь буланый.
В Хересе-де-ла-Фронтера
петух запевал стеклянный.
А ветер, горячий и голый,
крался, таясь у обочин,
в сумрак, серебряный сумрак
ночи, колдующей ночи.

Иосиф и божья мать
к цыганам спешат в печали —
они свои кастаньеты
на полпути потеряли.
Мария в бусах миндальных,
как дочь алькальда, нарядна;
плывет воскресное платье,
блестя фольгой шоколадной.
Иосиф машет рукою,
откинув плащ златотканый.
А следом — Педро Домэк¹
и три восточных султана.
На кровле грезящий месяц
дремотным аистом замер.

¹ Педро Домэк — андалусский винодел.

Взлетели огни и флаги
над сонными флюгерами.
В глубинах зеркал старинных
рыдают плясуњи-тени.
В Хересе-де-ла-Фронтера —
полуночь, роса и пенье.

О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь украшен...
Гаси зеленые окна —
все ближе черные стражи!
Забуть ли тебя, мой город!
В тоске о морской прохладе
ты спишь, разметав по камню
не знавшие гребня пряди...

Они въезжают попарно —
а город поет и пляшет.
Бессмертников мертвый шорох
врывается в патронташи.
Они въезжают попарно,
спеша, как черные вести.
И связками шпор звенящих
мерещатся им созвездья.

А город, чуждый тревогам,
тасует двери предместий...
Верхами сорок жандармов
въезжают в говор и песни.
Часы застыли на башне
под зорким оком жандармским.
Столетний коньяк в бутылках
прикинулся льдом январским.
Застигнутый криком флюгер
забился, слетая с петель.

Зарубленный свистом сабель,
упал под копыта ветер.

Снуют старухи цыганки
в ущельях мрака и света,
мелькают сонные пряди,
мерцают медью монеты.
А крылья плащей зловещих
вдогонку летят тенями,
и ножницы черных вихрей
смыкаются за конями...

У Вифлеемских ворот
сиро столпились цыгане.
Залитый кровью Иосиф
к мертвой склонился в молчанье.
Всю ночь напролет винтовки
поют высоко и грозно.
Всю ночь цыганят Мария
врачует слюною звездной.
И снова скачут жандармы,
кострами ночь засевая,
и бьется в пламени сказка,
прекрасная и нагая.
И стонет Рóса Камборьо,
а рядом, стоя на блюде,
дымятся медные чаши
ее отрубленных грудей.
За косы ловят жандармы
плясуний смуглую стаю —
и черный порох во мраке
кострами роз расцветает...
Когда же пластами пашни
легла черепица кровель,

заря, склонясь, осенила
холодный каменный профиль...

О мой цыганский город!
Прочь жандармерия скачет
черным туннелем молчанья,
а ты — пожаром охвачен.
Забывать ли тебя, мой город!
В глазах у меня отныне
пусть ищут твой дальний ответ.
Игру луны и пустыни.

ПЛАЧ
ПО
ИГНАСИО САНЧЕСУ МЕХИАСУ
(1935)

ПЛАЧ ПО ИГНАСИО
САНЧЕСУ МЕХИАСУ¹

I

УДАР БЫКА И СМЕРТЬ

Было пять часов пополудни.
Было точно пять часов пополудни.
Принес простыню крахмальную мальчик
в пятом часу пополудни.
И корзину с известью негашеной —
в пятом часу пополудни.
А над всем этим — смерть, одна только смерть
в пятом часу пополудни.

Вата взлетела, подхвачена ветром,
в пятом часу пополудни.
Стекло и никель посеяла окись
в пятом часу пополудни.

¹ Игнасио Санчес Мехиас — знаменитый испанский гореро, близкий друг Лорки.

Голубка вступила в бой с леопардом
в пятом часу пополудни.
И было бедро пропорото рогом
в пятом часу пополудни.
И гулко ударил большой колокол
в пятом часу пополудни.
Трезвон хлороформа и дымной крови
в пятом часу пополудни.
В трауре улиц безмолвные толпы
в пятом часу пополудни.
А сердце быка так яростно билось
в пятом часу пополудни.
Когда заморозились капли пота
в пятом часу пополудни
и стала арена желтее йода
в пятом часу пополудни,
то смерть положила личинки в рану
в пятом часу пополудни.
Било пять часов пополудни,
было точно пять часов пополудни.

Помост катафалка, вместо кровати,
в пятом часу пополудни.
Могилой флейты ему зазвучали
в пятом часу пополудни.
Наполнился мозг его ревом бычьим
в пятом часу пополудни.
Агония радугой расцветилась
в пятом часу пополудни.
Гангрена выткала траурный бархат
в пятом часу пополудни.
Хоботы ириса в зелени паха —
в пятом часу пополудни.

От давки народной звенели стекла
в пятом часу пополудни.
В пятом часу пополудни.
О, мрачные пять часов пополудни!
Было мрачно в пять часов пополудни!

II

ПРОЛИТАЯ КРОВЬ

Не хочу ее я видеть!

Пусть луна взойдет багровой.
О, засыпьте лужи крови
на песке, где пал Игнасио!

Не хочу ее я видеть!

Пусть луна открыта настезь,
кони облачные серы,
тускло светится арена,
лозы воткнуты в барьеры.

Не хочу ее я видеть!

Пусть воспоминанье меркнет.
Детской белизне жасминной
дайте знать об этой смерти!

Не хочу ее я видеть!

Грустным языком оближет
мира старого корова
на песке арены лужу
пролитой горячей крови.

Дикие быки Гисандо ¹ —
полусмерть и полукамень —
промычат с тоски, что надо
землю попирать веками.

Нет,
не хочу ее я видеть!

По ступеням вверх Игнасио
с ношей смерти шел устало,
он искал рассвет, но тщетно —
в эту ночь не рассветало.
Он искал свой образ твердый,
тело, полное здоровья,
а нашел он — распростертый —
только бред свой, смытый кровью.
На нее смотреть не стану!
Не хочу я видеть струйки,
бьющие, как из фонтана,
льющиеся алым светом
на зеленый плющ, на руки
жаждущей толпы под тентом.
Кто там крикнул, чтоб взглянул я?
Все равно смотреть не стану!

Он не дрогнул пред рогами,
не закрыл он глаз, не крикнул,
только ужас материнский
встал окаменелым ликом,
и донесся зов потайный
с ветром пастбищ бесконечных
к облачным быкам небесным,
к пастухам туманов млечных!

¹ Остовы диких быков, найденные при раскопках в Гисандо.

Гранда не было в Севилье,
кто б сравнился с ним в отваге,
не было такого сердца,
нет другой подобной шпаги!
В нем текла рекою львиной
чудодейственная сила
и его картинный облик
торсом мраморным вносила.
Андалусский дивный воздух
облекал его в сиянье,
смех его струился нардом
остроумья, обаянья.
Он великий был тореро!
Горец, как любил он горы!
Как с колосьями был нежен!
Как вонзал он твердо шпоры!
Как он ласков был с росой!
Как прекрасен на арене!
Пред последней бандерильей
тьмы не пал он на колени!

Сном заснул он бесконечным.
Мхи зеленые и травы
раздвигают, словно пальцы,
черепа цветок кровавый.
По лугам, холмам зеленым
льется кровь его, как песня,
льется по рогам склоненным
и душою не воскреснет,
тысячью копыт топчет,
разливается все шире,
лужею сравняться хочет
с звездной тьмой в Гвадалквивире.
О, средь белых стен испанских

черные быки печали!
Вены вскрытые Игнасио
соловьями зазвучали!
Нет!
Не хочу ее я видеть!
Не вместить ее в кастрюлю,
ласточек таких нет в мире,
чтоб ее по капле выпить,
инея — чтоб заморозить,
песен нет таких и лилий,
хрусталай нет, чтоб закрыли
серебром кровавость розы.
Нет,
не хочу ее я видеть!

III

ПРИСУТСТВУЮЩЕЕ ТЕЛО

Камень — это лоб, где стонут сонмы сновидений
без змеистых вод, без льдистых мрачных кипарисов,
Камень — как спина, что носит вечным грузом время,
и деревья слез, и ленты млечные созвездий.

Серые дожди сбегают торопливо к рекам,
изрешеченные руки нежно поднимая,
чтоб дорогой не поймал их камень распростертый,
не сломал их членов хрупких, не впитал их крови!

Камень жадно собирает семена и капли,
ласточек костяк летучий и скелеты волчьи;
он не даст певучих звуков, пламени, кристаллов,
он дает одни арены, серые арены.

Благородный наш Игнасио распростерт на камне.
Он скончался. Что с ним стало? На лицо взгляните:
словно смерть его натерла бледно-желтой серой,
голова его темнеет, как у минотавра.

Он скончался. Дождь проникнул в рот его
открытый.
Вылетел из сжатых легких воздух, как безумный,
а любовь его, питаюсь снежными слезами,
греется в лазури горной отдаленных пастбищ.

Что там шепчут? Здесь почило тленье и
безмолвье,
перед нами только тело в тяжком испаренье.
Прежде в этой четкой форме соловьи звучали,
а теперь она покрыта синью дыр бездонных.

Кто наморщил саван? Лживы все слова и речи,
здесь, в углу, никто не плачет, не заводит песни,
шпорами коня не колет и змеи не гонит.
Я хочу увидеть взглядом широко открытым
пред собою это тело, только не в покое.

Я хочу людей увидеть с голосом, как трубы,
укрощающих уздою лошадей и реки;
я хочу людей увидеть с костяком звенящим
и с певучим ртом, где солнце искрится кремнями.

Здесь хочу я их увидеть. Перед этим камнем.
Перед этим торсом бледным с торсом перебитым.
Я хочу, чтоб эти люди указали выход
для Игнасио-паладина, связанного смертью.

Пусть укажут эти люди плач такой широкий,
чтоб он тек в туманах нежных светлою рекою,
чтоб без бычьего пыхтенья яростно-двойного
по реке той плыл Игнасио охладелым телом.

Чтоб река та затерялась на арене круглой,
на луне, что притворилась светлым, кротким агнцем;
чтоб река исчезла в ночи рыбьего безмолвья,
затерялась в белой чаше дымов отвердевших.

Нет, лица его платками вы не закрывайте,
чтобы не привык он к смерти, в нем самом сокрытой.
Спи, Игнасио, и не чувствуй жаркого мычанья.
Мчись, лети, покойся с миром. Так умрет и море.

IV

ОТСУТСТВУЮЩАЯ ДУША

Ты чужд быку, смоковнице, и коням,
и муравьям у твоего порога.
Тебя не знает вечер и ребенок,—
ушел ты навсегда, навеки умер.

Ты чужд хребту иссеченному камня,
атласу черному, в котором тлеешь.
Ты чужд своим немым воспоминаньям,—
ушел ты навсегда, навеки умер.

Придет к нам осень с гроздьями тумана,
с улитками и снежными горами.
Никто в твой взор не взглянет светлым
взором,—
ушел ты навсегда, навеки умер.

Да, потому что ты навеки умер,
как мертвые, оставившие землю,
как мертвые, которых забывают
среди кучи мусора и псов издохших.

Пусть чужд ты всем. Тебя я воспеваю.
Я сохраню твой мужественный облик,
и зрелость опыта, и жадность к смерти,
вкус терпкий губ твоих и привкус грусти
в веселой смелости твоих порывов.

Родится ли когда иль не родится,
с судьбой такую бурной андалусец?
О красоте твоей пою со стоном,
и грустно шелестит в оливах ветер.

СТИХИ
РАЗНЫХ ЛЕТ

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

28 марта 1919

(Гранда)

I

Выходят веселые дети
из шумной школы,
вплетают в апрельский ветер
свой смех веселый.
Какою свежестью дышит
покой душистый!
Улица дремлет и слышит
смех серебристый.

II

Иду по садам вечерним,
в цветы одетым,
а грусть я свою, наверно,
оставил где-то.
На кладбище, над черепами
забывших время

трепещет земля цветами,
взросло их семя.
И кипарисы, покрыты
пыльцою нежной,
вперили пустые орбиты
в простор безбрежный,
качая своей утомленной
главой зеленой.

Апрель, ты несешь нам звезды,
вешние воды,
зажги золотые гнезда
в глазах природы!

БАЛЛАДА МОРСКОЙ ВОДЫ

Море смеется
у края лагуны!
Пенные зубы,
лазурные губы...

— Девушка с бронзовой грудью,
что ты глядишь с тоскою?

— Торгую водой, сеньор мой,
водой морскою.

— Юноша с темной кровью,
что в ней шумит, не смолкая?

— Это вода, сеньор мой,
вода морская.

— Мать, отчего твои слезы
льются соленой рекою?

— Плачу водой, сеньор мой,
водой морскою.

— Сердце, скажи мне, сердце,—
откуда горечь такая?

— Слишком горька, сеньор мой,
вода морская...

А море смеется
у края лагуны.
Пенные зубы,
лазурные губы.

А Л М А З

Ноябрь 1920

(Г р а н а д а)

Острая звезда-алмаз,
глубину небес пронзая,
вылетела птицей света
из неволи мирозданья.
Из огромного гнезда,
где она томилась пленной,
устремляется, не зная,
что прикована к вселенной.

Охотники неземные
охотятся на планеты —
на лебедей серебристых
в водах молчанья и света.

Вслух малыши-топольки
читают букварь, а ветхий
тополь-учитель качает
в лад им иссохшею веткой.

Теперь на горе далекой,
наверно, играют в кости
покойники: им так скучно
весь век лежать на погосте!

Лягушка, пой свою песню!
Сверчок, вылезай из щели!
Пусть в тишине зазвучат
тонкие ваши свирели!

Я возвращаюсь домой.
Во мне трепещут со стоном
голубки — мои тревоги.
А на краю небосклона
спускается день-бадья
в колодезь ночей бездонный!

Д О Ж Д Ъ
Январь 1919
(Г р а н а д а)

Есть в дожде откровенье — потаенная
нежность.
И старинная сладость примиренной дремоты,
пробуждается с ним безыскусная песня,
и трепещет душа усыпленной природы.

Это землю лобзают поцелуем лазурным,
первобытное снова оживает поверье.
Сочетаются Небо и Земля, как впервые,
и великая кротость разлита в предвечерье.

Дождь — заря для плодов. Он приносит цветы
нам,
овеваает священным дуновением моря,
вызывает внезапно бытие на погостах,
а в душе сожаленье о немислимых зорях,

роковое томленье по загубленной жизни,
неотступную думу: «Все напрасно, все поздно!»
Или призрак тревожный невозможного утра
и страдание плоти, где таится угроза.

В этом сером звучанье пробуждается нежность,
небо нашего сердца просияет глубоко,
но надежды невольно обращаются в скорби,
созерцая погибель этих капель на стеклах.

Эти капли — глаза бесконечности — смотрят
в бесконечность родную, в материнское око.

И за каплею капля на стекле замутненном,
трепеща, остается, как алмазная рана.
Но, поэты воды, эти капли провидят
то, что толпы потоков не узнают в туманах.

О мой дождь молчаливый, без ветров, без
ненастья,
дождь спокойный, кроткий, колокольчик убогий,
дождь хороший и мирный, только ты — настоящий,
ты с любовью и скорбью окропляешь дороги!

О мой дождь францисканский, ты хранишь в
своих каплях
души светлых ручьев, незаметные росы.
Нисходя на равнины, ты медлительным звоном
открываешь в груди сокровенные розы.

Тишине ты лепечешь первобытную песню
и листве повторяешь золотое преданье,
а пустынное сердце постигает их горько
в безысходной и черной пентаграмме страданья.

В сердце те же печали, что в дожде
просветленном,
примиренная скорбь о несбыточном часе.
Для меня в небесах возникает созвездье,
но мешает мне сердце созерцать это счастье.

О мой дождь молчаливый, ты — любимец
растений,
ты на клавишах звучных — утешение в боли,
и душе человека ты даришь тот же отзвук,
ту же мглу, что душе усыпленного поля!

ЧЕТЫРЕ ЖЕЛТЫЕ БАЛЛАДЫ

I

На горе, на горе высокой
деревцо стоит зеленое.

*Пастух проходит
своей дорогой...*

Протянулись оливы сонные
далеко в поля раскаленные.

*Пастух проходит
своей дорогой.*

У него — ни собак, ни стада,
и ни посоха, и ни друга.

Пастух проходит...

Он растаял, тень золотая,
без следа исчез в поле дальнем.

Своей дорогой.

II

Нынче вся земля
желтая.

*Высок бережок,
где мой пастушок?*

Не взошла луна
белая.

*Высок бережок,
где мой пастушок?*

А девичья рука смуглая
режет лозы — слезы горькие.

*Высок бережок,
где мой пастушок?*

III

*Рыжих два вола
бредут в золотых полях.*

Как мерный звон колоколов,
шаги тяжелые волов.

И, как у птиц, далек их взгляд.

В тумане утреннем скользят
глаза их сонно, но иглой
прокалывают летний зной.

С рожденья их душа дряхла,
полна презрения к ярмам
и вспоминает два крыла,
что прежде бились по бокам.

Всегда бредут они вперед,
всегда вздыхают глубоко,

в дали туманной ищут брод,
в котором дышится легко.
Ищут вечный брод,
где, пьянея от света звезд,
будут жвачку жевать из слез.

*Рыжих два вола
бредут в золотых полях.*

IV

*Я иду по небу,
и ромашки цветут.*

Мне приснилось сегодня,
что я святой,
что иду я по небу
вдвоем с луной,
что подняться повыше
я луне помог,
и венок из света
подарил мне бог.

*Я иду по небу,
и ромашки цветут.*

А потом я на землю
спустился опять
и мальчишкам девчонок
запретил обижать.
Золотые монетки
стал я всем раздавать.

*Я иду по небу,
и ромашки цветут.*

КАРУСЕЛЬ

Праздничный день мчится
на колесах веселья,
вперед и назад вертится
на карусели.

Синяя пасха.
Белый сочельник.

Будние дни меняют
кожу, как змеи,
но праздники не поспевают,
не умеют.

Праздники ведь, признаться,
очень стары,
любят в шелка одеваться
и в муары.

Синяя пасха.
Белый сочельник.

Мы карусель привяжем
меж звезд хрустальных,—
это тюльпан, скажем,
из стран дальних.

Пятнистые наши лошадки
на пантер похожи.
Как апельсины сладки —
луна в желтой коже!

Завидуешь, Марко Поло?
На лошадках дети
умчатся в земли, которых
не знают на свете.

Синяя пасха.
Белый сочельник.

МОРСКАЯ РАКОВИНА

Мне дали морскую раковину.

В ней я услышал раскаты
моря со школьной карты.

Сердце
наполнилось брызгами, бликами,
зеленым сумраком
и серебристыми рыбками.

Мне дали морскую раковину.

П Е Й З А Ж

Все перепутал вечер,
сбился с дороги,
в холод закутал плечи.

И нет еще в окнах света,
и в каждом — ребячьи лица:
глядят, как желтая ветка
становится спящей птицей.

А день уже лег и стихнул,
и что-то ему не спится.
Вишневый румянец вспыхнул
на черепице.

СЕВИЛЬСКАЯ ПЕСЕНКА

В роще апельсиновой
утро наступает.
Пчелки золотые
ищут мед.

Где ты, где ты,
мед?

Я на цветке, вот тут,
Исабель.
Там, где растут
мята и хмель.

(Сел жучок
на стульчик золотой,
сел его сынок
на стульчик голубой.)

В роще апельсиновой
утро настает.

Н Е М О Й М А Л Ь Ч И К

Мальчик искал свой голос.
(Он спрятан был принцем-кузнечиком.)
Мальчик искал свой голос
в росных цветочных венчиках.

— Сделал бы я из голоса
колечко необычайное,
мог бы я в это колечко
спрятать свое молчание.

Мальчик искал свой голос
в росных цветочных венчиках,
а голос звенел вдалеке,
одевшись зеленым кузнечиком.

ДВА МОРЯКА НА БЕРЕГУ

I

Он из Китайского моря
привез в своем сердце рыбку.

Порою она бороздит
глубины его зрачков.

Моряк, он теперь забывает
о дальних, дальних тавернах.

Он смотрит в воду.

II

Он когда-то о многом поведать мог.
Да теперь растерялись слова. Он умолк.

Мир полновесный. Кудрявое море.
Звезды и в небе и за кормою.

Он видел двух пап в облачениях белых
и антильянок бронзовотелых.

Он смотрит в воду.

В ГЛУБИНАХ ЗЕЛЕНОГО НЕБА

В глубинах зеленого неба
зеленой звезды мерцанье.
Как быть, чтоб любовь не погибла?
И что с нею станет?

С холодным туманом
высокие башни слиты.
Как нам друг друга увидеть?
Окно закрыто.

Сто звезд зеленых
плывут над зеленым небом,
не видя ста белых башен,
покрытых снегом.

И чтобы моя тревога
казалась живой и страстной,
я должен ее украсить
улыбкой красной.

МОЛОДАЯ ЛУНА

Луна плывет по реке.
В безветрии звезды теплятся.
Срезая речную рябь,
она на волне колеблется.
А молодая ветвь
ее приняла за зеркальце.

АПЕЛЬСИН И ЛИМОНЫ

Апельсин и лимоны.

Ай, разбилась любовь
со звоном.

Лимон, апельсины.

Ай, у девчонки,
у девчонки красивой.

Лимоны.

(А солнце играло
с травой зеленой.)

Апельсины.

(Играло с волною
синей.)

В Е Ч Е Р

Три тополя беспредельных
под сиротливой звездой.

Безмолвие, в мелких укусах
ночной переключки лягушек,
как ткань, где по лунному полю
разлиты зеленые пятна.

Засохшее деревце
в речке
цветет концентрическим
кругом.

И все мне мерещится облик
смуглянки моей из Гранады.

ЛУНА ВОСХОДИТ

Когда встает луна,
колокола стихают,
и предстают тропинки
в непроходимых дебрях.

Когда встает луна,
землей владеет море,
и кажется, что сердце —
забытый в далях остров.

Никто в ночь полнолуния
не съел бы апельсина,—
едят лишь ледяные
зеленые плоды.

Когда встает луна
в однообразных ликах —
серебряные деньги
рыдают в кошельках.

ПЕСНЯ ВСАДНИКА

Кордова.
Вдалеке и в тумане.

Черный конь, луна большая,
а в суме моей — оливы.
Все пути-дороги знаю.
Никогда мне не видеть Кордовы.

По долине, через ветер,
черный конь, луна багряна.
Смерть в пути меня заметит
с башен Кордовы.

О, длинна моя дорога!
О мой конь, мой спутник резвый!
Смерть нас встретит у порога
дальней Кордовы!

Кордова.
Вдалеке и в тумане.

П Е С Н Я В С А Д Н И К А

Под луною черной
запевают шпоры
на дороге горной...

(Вороной храпящий,
где сойдет твой всадник, непробудно
спящий?)

...Словно плач заводят.
Молодой разбойник
уронил поводья.

(Вороной мой ладный,
о, как горько пахнет лепесток
булатный!)

Под луною черной
заплывает кровью
профиль гор точеный.

(Вороной храпящий,
где сойдет твой всадник, непробудно
спящий?)

На тропе отвесной
ночь вонзила звезды
в черный круп небесный.
(Вороной мой ладный,
о, как горько пахнет лепесток булатный!)

Под луною черной
смертный крик протяжный,
рог костра крученный...

(Вороной храпящий,
где сойдет твой всадник, непробудно
спящий?)

УЛИЦА НЕМЫХ

За стеклом окошек неподвижных
девушки улыбками играют.

(На струнах пустых роялей
пауки-акробаты.)

Назначают девушки свиданья,
встряхая косами тугими.

(Язык вееров,
платочков и взглядов.)

Кавалеры отвечают им, цветисто
взмахая черными плащами.

С Е Р Е Н А Д А

При луне у речной долины
полночь влагу в себя вбирает,
и на лунной груди Лолиты
от любви цветы умирают.

От любви цветы умирают.

Ночь нагая поет в долине
на мостах, летящих над мартом.
Осыпает себя Лолита
и волнами, и нежным народом.

От любви цветы умирают.

Эта ночь серебра и аниса
сверкает на крышах голых.
Серебро зеркал и водопадов,
анис твоих бедер белых.

От любви цветы умирают.

Д Е Р Е В Ц О

Дёревце, деревцо,
к засухе зацвело.

Девушка рвала оливки,
шла вечереющим полем,
и обнимал ее ветер,
ветреный друг колоколен.

На андалусских лошадках
ехало четверо конных,
пыль оседала на куртках,
на голубых и зеленых.
«Едем, красавица, в Кóрдову!»
Девушка им ни слова.

Три молодых матадора
с горного шли перевала,
шелк отливал апельсином,
сталь серебром отливала.
«Едем, красотка, в Севилью!»
Девушка им ни слова.

Когда опустился вечер,
лиловою мглой омытый,
юноша вынес из сада
лунные розы и мирты.
«Радость, идем в Гранаду!»
И снова в ответ ни слова.

Осталась девушка в поле
срывать оливы в тумане,
и ветер серые руки
сомкнул на девичьем стане.

Деревце, деревцо,
к засухе зацвело.

ШЛА МОЯ ДЕВОЧКА К МОРЮ

Волны считать и камни
шла моя девочка к морю,
но только с рекою Севильи
она повстречалась вскоре.

Олеандры и звон колокольный...
Пять лодок тихо качались,
были весла опущены в воду,
паруса на ветру плескались.

Кто смотрит украдкой из башни?
Кто смотрит из башни Севильи?
И пять голосов прозвучавших,
словно кольца, круглыми были.

Небо, всадник отважный,
уселось верхом на речку,
а в воздухе розоватом
качалось пять звонких колечек.

НА УШКО ДЕВУШКЕ

Не хотел.
Не хотел говорить ничего.

Я увидел в глазах твоих
два немислимых деревца.
Невесомых, веселых и золотых.

Они раскачивались.

Не хотел.
Не хотел говорить ничего.

ЭТО ПРАВДА

Ах, какой же это подвиг —
полюбить тебя, как я!
Все теперь источник боли —
воздух, сердце
и сомбреро — для меня.
Кто возьмет и купит ленту
и моей печали пух,
чтоб вернулась в мир платками
пряжа белая моя?
Ах, какой же это подвиг —
полюбить тебя, как я!

ОН УМЕР НА РАССВЕТЕ

У ночи четыре луны,
а дерево — только одно,
и тень у него одна,
и птица в листве ночной.

Следы поцелуев твоих
ищу на теле.
А речка целует ветер,
касясь его еле-еле.

В ладони несу твое Нет,
которое ты дала мне,
как восковой лимон
с тяжестью камня.

У ночи четыре луны,
а дерево — только одно.
Как бабочка, сердце иглой
к памяти пригвождено.

ОБМАНЧИВОЕ ЗЕРКАЛО

Птицей не встревожена
ветка молодая.

Жалобное эхо
без слез, без страданья.
Человек и Чаща.

Плачу
у пучины горькой.
А в моих зрачках
два поющих моря.

ПРОХОДИЛИ ЛЮДИ...

Проходили люди
дорогой осенней.

Уходили люди
в зелень, в зелень.
Петухов несли,
гитары — для веселья,
проходили царством,
где царило семя.
Река мчала песню,
фонтан пел у дороги.
Сердце,
вздогни!

Уходили люди
в зелень, в зелень.
И шла за ними осень
в желтых звездах.
С птицами понурыми,
с круговыми волнами,

шла, на грудь крахмальную
свесив голову.
Сердце,
смолкни, успокойся!

Проходили люди,
и шла за ними осень.

МАДРИГАЛ ГОРОДУ
САНТЬЯГО

Дождик идет в Сантьяго,
сердце любовью полно.
Белой камелией в небе
светится солнца пятно.

Дождик идет в Сантьяго,
ночи такие темны́.
Трав серебро и грезы
лик закрывают луны.

Видишь, на камни улиц
падает тонкий хрусталь.
Видишь, как шлет тебе море
с ветром и мглу и печаль.

Шлет их тебе твое море,
солнцем Сантьяго забыт;
только с утра в моем сердце
капля дождя звенит.

З А Р Я

Заря в Нью-Йорке сделана из тины,
и ураганы черных птиц гнездятся
в глубинах заболоченного неба,
вздымая крыльями гнилую воду.

Заря в Нью-Йорке стонет по кварталам,
теряясь в лабиринте черных лестниц,
ища среди отбросов почерневших
трепещущие лепестки левкоев.

Заря приходит, никого не встретив,
и губ ее никто с любовью не целует,
ведь нет здесь ни туманного рассвета,
ни затаенного огня надежды.

Здесь лишь жужжат монеты злобным роем,
и для бездомных их укус смертелен.
А те, кто утром открывает двери,
не ждут ни снов любви, ни райских песен.

Они завязнут в тине чисел и законов,
забьются в бешеной агонии без цели,
зальют свое лицо бесплодным потом,
услышат, как трещат их собственные кости.

Здесь свет закован в цепи скрежета и лязга,
здесь все науки срезаны под корень,
здесь люди носятся по улицам бессонным,
как утлые челны по морю крови.

С О Н Е Т

Вздыхая, ветер ночи, призрак странный,—
он отликает серебром надменно,—
раскрыл края моей старинной раны;
он улелел, желанье неизменно.

Жизнь в язву превратит любовь так рано,
и хлынут кровь и чистый свет из плена;
в ней, как в щели, гнездо среди тумана
найдет немеющая Филомена.

О, нежный шум в ушах! На землю лягу,
бездушные цветы оберегая,—
я тем служу твоей красе, как благу.

И пожелтеют воды, пробегая,
и выпьет кровь мою — живую влагу —
душистая трава береговая.

С О Н Е Т

Я боюсь потерять это светлое чудо,
что в глазах твоих влажных застыло в молчанье,
я боюсь этой ночи, в которой не буду
прикасаться лицом к твоей розе дыханья.

Я боюсь, что ветвей моих мертвая груда
устилать этот берег таинственный станет;
я носить не хочу за собою повсюду
те плоды, где укроются черви страданья.

Если клад мой заветный взяла ты с собою,
если ты моя боль, что пощады не просит,
если даже совсем ничего я не стою,—

пусть последний мой колос утрата не скосит,
и пусть будет поток твой усыпан листвою,
что роняет моя уходящая осень.

НА ДРУГОЙ ЛАД

Костер на это поле предвечерья
отбрасывает тень — рога оленей.
Долина распласталась. Тихий ветер
Овеял в первый раз ее колени.

Но воздух проясняется за дымом —
кошачий глаз, желтеющий в томленье.
Я в отражении плыву сквозь ветки,
а ветки по реке плывут в блаженной
лени.

Все главное мое возникло снова —
припевы от припевов, сожаленья.
Меж тростниками и вечерней глушью
как странно имя Лорка — отзвук тени!

ПЕСНЯ СУХОГО АПЕЛЬСИННОГО
ДЕРЕВА

Отруби поскорей
тень мою, дровосек,
чтоб своей наготы
мне не видеть вовек!

Я томлюсь меж зеркал:
день мне облик удвоил,
ночь меня повторяет
в нсбе каждой звездой.

О, не видеть себя!
И тогда мне приснится:
муравьи и пушинки —
мои листья и птицы.

Отруби поскорей
тень мою, дровосек,
чтоб своей наготы
мне не видеть вовек!

САД В МАРТЕ

Яблоня!

В ветвях твоих — птицы и тени.

Мчится моя мечта,
к ветру летит с луны.

Яблоня!

Твои руки оделись в зелень.

Седые виски января
в марте еще видны.

Яблоня...

(потухший ветер).

Яблоня...

(большое небо).

ПЕСНЯ УХОДЯЩЕГО ДНЯ

Сколько труда мне стоит,
день, отпустить тебя!
Уйдешь ты, полный мною,
придешь, меня не зная.
Сколько труда мне стоит
в груди твоей оставить
возможные блаженства
мгновений невозможных!

По вечерам Персей
с тебя срывает цепи,
и ты несешься в горы,
себе изранив ноги.
Тебя не зачаруют
ни плоть моя, ни стон мой,
ни реки, где ты дремлешь
в покое золотистом.

С Восхода до Заката
несу твой свет округлый.
Твой свет великий держит
меня в томленьи жгучем.

Сколько труда мне стоит
с Восхода до Заката
нести тебя, мой день,
и птиц твоих, и ветер!

Ц В Е Т О К

Ива дождя,
плакучая, легла.

О, лунный свет
над белыми ветвями!

ПРЕЛЮДИЯ

И тополя уходят —
но след их озерный светел.

И тополя уходят —
но нам оставляют ветер.

И ветер умолкнет ночью,
обряженный черным крепом.

Но ветер оставит эхо,
плывущее вниз по рекам.

А мир светляков нахлынет —
и прошлое в нем потонет.

И крохотное сердечко
раскроется на ладони.

ПРОЩАНИЕ

Если умру я —
не закрывайте балкона.

Дети едят апельсины.
(Я это вижу с балкона.)

Жницы сжинают пшеницу.
(Я это вижу с балкона.)

Если умру я —
не закрывайте балкона.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Гелескул. Федерико Гарсиа Лорка	5
--	---

КАНТЕ ХОНДО

(1921)

Балладилья о трех реках. Перевод В. Столбова	25
--	----

Стихи о цыганской сигирийе

Пейзаж. Перевод М. Цветаевой	27
Гитара. Перевод М. Цветаевой	28
Крик. Перевод Г. Шмакова	30
Тишина. Перевод Инны Тыняновой	31
Поступь сигирийи. Перевод А. Гелескула	32
Следом. Перевод В. Столбова	33
А потом... Перевод М. Цветаевой	34

Стихи о солеа

«Суха земля, тиха земля...» Перевод Н. Горбаневской.	35
Селенье. Перевод М. Цветаевой	36
Кинжал. Перевод Н. Горбаневской	37
Перекресток. Перевод В. Парнаха	38
Ай! Перевод М. Самаева	39
Что случилось?! Перевод Инны Тыняновой	40
Солеа. Перевод В. Бурича	41
Пещера. Перевод А. Гелескула	42

Встреча. Перевод Ю. Мориц	43
Заря («Колоколам Кордовы зорька рада...»). Перевод Инны Тыняновой	44

Силуэт петенеры

Колокол (Припев). Перевод М. Самаева	45
Дорога. Перевод <u>Ф. Кельина</u>	46
Шесть струн. Перевод М. Самаева	47
Танец (В саду петенеры). Перевод М. Самаева	48
Смерть петенеры. Перевод М. Самаева	49
Фальсета. Перевод М. Самаева	50
De profundis. Перевод Инны Тыняновой	51
Вопль («На желтой башне...»). Перевод М. Самаева	52

Стихи о сазте

Лучники. Перевод Р. Похлебкина	53
Ночь. Перевод М. Кудинова	54
Севилья. Перевод М. Кудинова	55
Процессия. Перевод М. Кудинова	57
Шествие. Перевод М. Павловой	58
Сазта. Перевод М. Павловой	59
Балкон. Перевод А. Гелескула	60
Рассвет. Перевод А. Гелескула	61

Две девушки

Лола. Перевод М. Самаева	62
Ампаро. Перевод Е. Терновского	63

Три города

Малагенья. Перевод А. Гелескула	65
Квартал Кордовы. Перевод А. Гелескула	67
Танец («Танцует в Севилье Кармен...»). Перевод А. Гелескула	68

Из разных циклов

Свеча. Перевод В. Бурича	69
Мemento. Перевод Инны Тыняновой	70

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНСЕРО

(1924—1927)

Романс о луне, луне. Перевод А. Гелескула . . .	73
Пресьоса и ветер. Перевод А. Гелескула . . .	75
Сомнамбулический романс. Перевод О. Савича	78
Схватка. Перевод В. Парнаха	81
Романс о черной печали. Перевод В. Парнаха	83
Романс обреченного. Перевод А. Гелескула . .	85
Сан-Габриэль (Севиля). Перевод А. Гелескула	88
Сан-Рафаэль (Кордова). Перевод А. Гелескула	91
Сан-Мигель (Гранада). Перевод В. Парнаха . .	93
Неверная жена. Перевод А. Гелескула	96
Цыганка-монахиня. Перевод А. Гелескула . . .	99
Как схватили Антоньито эль Камборьо на се- вильской дороге. Перевод А. Гелескула . .	101
Смерть Антоньито эль Камборьо. Перевод А. Ге- лескула	103
Погибший из-за любви. Перевод А. Гелескула	105
Романс об испанской жандармерии. Перевод А. Гелескула	108

ПЛАЧ ПО ИГНАСИО САНЧЕСУ МЕХИАСУ

(1935)

Перевод М. Зенкевича

I. Удар быка и смерть	115
II. Пролитая кровь	117
III. Присутствующее тело	120
IV. Отсутствующая душа	122

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Весенняя песня. Перевод Инны Тыняновой . .	127
Баллада морской воды. Перевод А. Гелескула	129
Алмаз. Перевод В. Парнаха	131
Дождь. Перевод В. Парнаха	133
Четыре желтые баллады. Перевод Инны Тыня- новой	136
Карусель. Перевод Инны Тыняновой	139

Морская раковина. Перевод М. Самаева	141
Пейзаж. Перевод А. Гелескула	142
Севильская песенка. Перевод Инны Тыняновой	143
Немой мальчик. Перевод М. Самаева	144
Два моряка на берегу. Перевод М. Самаева . .	145
В глубинах зеленого неба. Перевод М. Кудинова	147
Молодая луна. Перевод М. Самаева	148
Апельсин и лимоны. Перевод М. Кудинова . .	149
Вечер. Перевод Е. Терновского	150
Луна восходит. Перевод В. Парнаха	151
Песня всадника («Кордова. Вдалеке и в тумане...»). Перевод Инны Тыняновой	152
Песня всадника («Под луною черной...»). Перевод А. Гелескула	153
Улица немых. Перевод Инны Тыняновой	155
Серенада. Перевод Ю. Мориц	156
Деревцо. Перевод А. Гелескула	157
Шла моя девочка к морю. Перевод М. Кудинова	159
На ушко девушке. Перевод Ю. Мориц	160
Это правда. Перевод Н. Асеева	161
Он умер на рассвете. Перевод М. Самаева . .	162
Обманчивое зеркало. Перевод М. Самаева . . .	163
Проходили люди... Перевод М. Самаева . . .	164
Мадригал городу Сантьяго. Перевод Ф. Кельина	166
Заря («Заря в Нью-Йорке сделана из тины...»). Перевод Инны Тыняновой	167
Сонет («Вздыхая, ветер ночи, призрак стран- ный...»). Перевод О. Савича	169
Поэт просит свою любовь, чтобы она ему напи- сала. Перевод О. Савича	170
Сонет («Я боюсь потерять это светлое чудо...»). Перевод М. Кудинова	171
На другой лад. Перевод В. Парнаха	172
Песня сухого апельсинового дерева. Перевод В. Парнаха	173
Сад в марте. Перевод Инны Тыняновой	174
Песня уходящего дня. Перевод В. Парнаха . .	175
Цветок. Перевод А. Гелескула	177
Прелюдия. Перевод А. Гелескула	178
Прощание. Перевод А. Гелескула	179

Федерико Гарсиа ЛОРКА

Лирика

Редакторы *Г. Полонская* и
А. Шлейфер

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор *Л. Сутина*

Корректор *А. Краковская*

*

Подписано к печати 12/XI 1965 г.
Бумага $70 \times 90\frac{1}{32}$. 5,75 печ. л.
6,71 усл. печ. л. 4,76 уч.-изд. л.

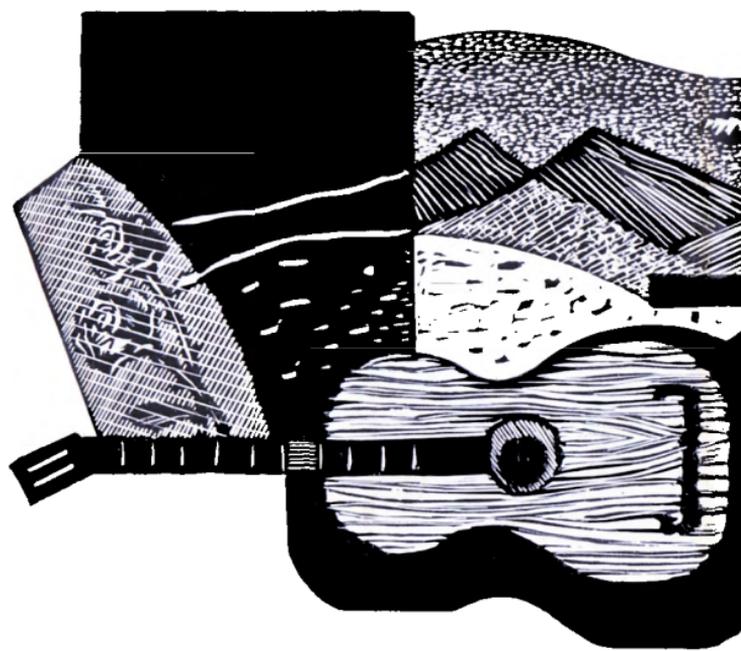
Заказ № 758.

Тираж 50 000 (25 001—50 000).

Цена 43 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано с матриц тип. «Крас-
ный пролетарий» Политиздата,
Москва, Краснопролетарская, 16
на книжной фабрике «Октябрь»,
Киев, Артема, 23 а.





Федерико
Гарсиа **Л**орка

ЛИРИКА